

Эдвард Бульвер-Литтон

Семейство Какстон



Эдвард Бульвер-Литтон

Семейство Какстон

«Public Domain»

1849

Бульвер-Литтон Э. Д.

Семейство Какстон / Э. Д. Бульвер-Литтон — «Public Domain»,
1849

«— Мальчик, мистер Какстон, мальчик! — Отец мой погружен был в чтение. Мальчик! повторил он с видимым смущением, подняв глаза. — Что такое мальчик? При таком вопросе, отец вовсе не думал начинать философического исследования, и требовать у безграмотной женщины, ворвавшейся в его кабинет, решения психологической и физиологической задачи, затрудняющей до сих пор ученых мудрецов: «что такое» — Возьмите первый словарь, и он скажет вам, что мальчик есть дитя мужского пола... т. е. юная мужская отрасль человека. Кто хочет пускаться в исследования и научнообразно узнать, что такое мальчик, должен сперва определить, что такое человек...»

Содержание

Часть первая	5
Глава I.	5
Глава II.	8
Глава III.	10
Глава IV.	12
Глава V.	16
Глава VI.	18
Глава VIII.	20
Глава VIII.	23
Глава IX.	27
Глава X.	31
Глава XI.	34
Часть вторая	37
Глава I	37
Глава II.	39
Глава III.	41
Глава IV.	45
ГЛАВА V.	49
Глава VI.	51
Глава VII.	53
Глава VIII.	56
Часть третья.	57
Глава I.	57
Глава II.	59
Глава III.	62
Глава IV.	64
Глава V.	69
Глава VI.	72
Часть четвертая.	73
Глава I.	73
Глава II.	83
Глава III.	86
Глава IV.	88
Конец ознакомительного фрагмента.	91

Эдвард Бульвер-Литтон

Семейство Какстон

Часть первая

Глава I.

– Мальчик, мистер Какстон, мальчик! – Отец мой погружен был в чтение. Мальчик! повторил он с видимым смущением, подняв глаза. – Что такое мальчик?

При таком вопросе, отец вовсе не думал начинать философического исследования, и требовать у безграмотной женщины, ворвавшейся в его кабинет, решения психологической и физиологической задачи, затрудняющей до сих пор ученых мудрецов: «что *такое*» – Возьмите первый словарь, и он скажет вам, что мальчик есть дитя мужского пола... т. е. юная мужская отрасль человека. Кто хочет пускаться в исследования и научнообразно узнать, что такое мальчик, должен сперва определить, что такое человек.

Отец мой прочел Бюффоня, Монбоддо, епископа Берклея, профессора Комба, всех авторов-материалистов Эпикурейской школы, всех умозрителей школы Зенона, и пр. пр. – Следовательно, признавая, что мальчик есть юная мужская отрасль человека, он мог, сказать себе, по произволу:

«Человек есть желудок: следовательно, мальчик есть юный желудок мужского пола.

Человек есть разум: следов. мальчик есть юный разум мужского пола.

Человек машина: следов. мальчик есть юная машина мужского пола.

Человек бесхвостая обезьяна: следов. мальчик есть юная бесхвостая обезьяна мужского пола.

Человек слияние, сродство газов: следов. мальчик есть юное слияние мужского пола газов.

Человек призрак: следов. мальчик есть юный призрак мужского пола.» И так далее, до бесконечности.

Но, если бы ни одно из этих определений не удовлетворяло любознательности отца моего, то конечно не стал бы он у мистрис Примминс просить нового определения.

Судьба однако же хотела, чтоб в эту минуту отец мой занят был важным вопросом: «Кем сочинена Илиада? Гомером? или многими авторами, которых песни собраны и сложены воедино, обществом умных людей?» Слово: *мальчик!* коснувшись его слуха, не отвечало за его умственное недоумение, и спросивши у мистрис Примминс, что такое мальчик? он нисколько не думал о вопросе своем, и только выразил им замешательство человека, внезапно встревоженного и удивленного.

– Вот прекрасно! что такое мальчик, – отвечала миссрис Примминс: – разумеется, ваш новорожденный.

– Новорожденный! повторил отец, вскакивая. Как что? неужели вы думаете, что мистрис Какстон?.. Да говорите же!

– Без всякого сомнения, отвечала мистрис Примминс, и я с роду не видывала такого миленького мальчика.

– Бедная, бедная! сказал отец с глубоким состраданием. Так скоро, так непонятно скоро! Давно ли мы обвенчались!

– Давно ли? вскричала мистрис Примминс обиженным голосом. Что вы это, мистер; кажется, уже прошло одиннадцать месяцев с тех пор как вы обвенчались!

– Одиннадцать месяцев! сказал отец, вздыхая. Одиннадцать месяцев! а я еще не кончил пятидесяти страниц моего возражения на чудовищную теорию Вольфа! В течение одиннадцати месяцев образовалось целое дитя, с руками, с ногами, с глазами и со всеми прочими принадлежностями. Дитя вполне совершенное, а бедное дитя головы моей (тут отец важно положил руку на трактат свою по сию пору еще не воплотилось! О, жена моя драгоценная женщина! Сохрани ее Господи и пошли мне силу принять достойно такое благоволение!

– Однако же мистер, вам верно угодно взглянуть на новорожденного? Пойдемте, пойдемте со мною.

И мистрис Примминс ласковой рукою потащила отца моего за рукав.

– Взглянуть? конечно, конечно! сказал отец с предоброй улыбкой. Взглянуть! уж меньше этого я ничего не могу сделать в рассуждении мистрис Какстон; бедная так много страдала! бедная! душенька!

Тогда отец важно, завернувшись в шlafрок, пошел за мистрис Примминс, которая привела его в первый этаж и ввела в темную комнату, тщательно занавешенную.

– Каково тебе, друг мой? спросил отец с сострадательною нежностью, ошупью подходя к постели.

Слабый голос прошептал:

«Лучше теперь, я так счастлива!»

М-с Примминс в ту же минуту потащила отца моего в другую сторону, подняла занавес маленькой колыбели, и поднесла свечу почти к самому носу новорожденного. Вот он, сказала она, благословите его!

– Верно вы не сомневаетесь, Мистрис Примминс, что я благословляю его, сказал отец с маленькой досадой. Мне долг велит благословлять его. Буди благословен! – И вот какими родимся мы на свет... Красными, очень красными... наперед краснеющими от всех будущих наших глупостей.

Отец сел на стул сиделки, все женщины столпились около него. Он продолжал рассматривать содержание колыбели, и сказал наконец тихо:

«Сам Гомер был похож на это!»

В это мгновение, подобие новорожденного Гомера, обеспокоенный вероятно близостью свечи к слабым его глазкам, испустил первые, нестройные звуки, данные ему природой.

– Гомер пел лучше, когда вырос, заметил Г. Скиль акушер, который в углу комнаты занимался какою-то таинственной работой.

Отец заткнул себе уши.

– Маленькие существа могут произвести много шума, заметил он весьма мудро, и чем меньше существо, тем больше может оно шуметь.

Говоря таким образом, он на цыпочках прокрался к кровати, взял белую ручку, к нему протянутую, и прошептал несколько слов, вероятно приятных слуху той, до которой дошли они, потому что белая ручка, освободившись из руки отца моего, обвилась вокруг его шеи. Он нагнулся... и звук нежного поцелуя раздался среди молчания тихой комнаты.

– Мистер Какстон! вскричал Г. Скиль с упреком: вы волнуете больную мою, пора вам уйти.

Отец мой выпрямился, обратил к Г. Скилю спокойно свое лицо, отер глаза рукою и исчез без шума за дверью.

– Кажется мне, сказала одна из женщин, сидевших по другую сторону кровати мистрис Какстон, что муж ваш мог бы изъять больше радости... то есть, больше чувства, увидев дитя свое... и какое дитя! Но все мужчины одинаковы, поверьте мне, милая, они все ничего не чувствуют.

– Бедный Роберт, сказала матушка, вздыхая, как вы несправедливо об нем судите!

– Мне должно теперь выслать отсюда всех, сказал Г. Скиль. А вы усните, мистрис Какстон, и спите, спите сколько можно долее.

– Г. Скиль, сказала матушка, отодвигая занавесь слабой рукой, прошу вас, посмотрите, не нужно ли чего мистеру Какстону... Скажите ему, чтоб он не сердился что я не приду... Скоро, не правда ли, скоро, мне можно будет сойти вниз?

– Скоро, сударыня, если теперь будете спокойно лежать.

– Не забудьте же моей просьбы, и ты тоже, Примминс. Боюсь, что все теперь без внимания оставили нашего хозяина. Примминс, милая, о смотри и проветри его ночной колпак.

– Прекрасные творения, эти женщины! думал Г. Скиль, выпроваживая, всех набившихся в комнату родильницы, выключая мистрис Примминс и сиделки, и направляя шаги свои к кабинету М. Какстона.

– Джон, сказал он слуге, попавшемуся ему в коридоре, неси ужин в комнату твоего господина и приготовь нам хорошенький пунш.

Глава II.

– Мистер Какстон, нельзя ли знать, каким образом вы женились? – спросил Г. Скиль, наливая себе стакан пуншу.

Такой задушевный вопрос мог бы оскорбить иного разумного человека, но мой отец никогда не допускал до себя никакого неприязненного чувства.

– Скиль, – сказал он, откладывая в сторону книгу и доверчиво прижимая пальцем руку акушера. Скиль, я сам буду очень рад, если узнаю, каким образом мог я жениться.

Г. Скиль был врач веселый, бодрый, плотный; прекрасные белые зубы украшали его искренний смех. Г. Скиль был философ на свой лад; он изучил человеческую натуру, вылечивая больных своих, и уверял, что мастер Какстон сам поучительнее всех книг его библиотеки. И так Г. Скиль засмеялся и потер себе руки.

Отец мой продолжал спокойно, нравоучительным тоном:

– В жизни человека три великие происшествия: рождение, женитьба и смерть. Не многие знают, как они родились! не многие, как умирают! Но, хотя подозреваю, что многие могут дать себе отчет в среднем явлении... я не знаю как женился.

– Вы женились не по корыстному расчету, вероятно по любви, заметил Г. Скиль: ваша молодая жена и хороша собою, и добра.

– Ах, сказал отец, теперь помню...

– В самом деле? вскричал обрадованный Скиль. Ну, что же, мистер Какстон? как это случилось?

Отец мой, по обыкновению своему помешкав, отвечал, как будто говоря самому себе, а не Скилю:

– Добрейший, благодетельнейший человек! лучший из людей! бездна учености! *abyssus eruditionis!* и мне оставил все имение, какое у него было, мимо родных и кровных, мимо Джака и Кидти! Да, все имение, все книги Греческие, Латинские, Еврейские, все, какие мог он передать слабой рукою своею!..

– Да кто же? спросил Скиль. О ком говорит он?

– Так сударь, продолжал отец, таков был Жиль Фиббет, магистр, *sol scientiarum*, солнце знания, мой дорогой профессор, отец бедной Кидти. Он оставил мне книги свои, свои Эльзевиры и сироту-дочь.

– А, а! он женил вас?

– Нет, он дал мне ее в опеку; она переехала сюда, жить со мною. Дурного тут ничего не было, но соседям показалось иначе, и вдова Вальтраум сказала мне, что это повредит репутации бедной сироты. Что ж мне было делать? Да, теперь помню все, все! Я женился, затем, чтобы дочь моего старого друга имела прибежище и спокойный угол. Бедная девушка! Я принужден был предложить ей покровительство скучного мужа, отшельника, живущего в библиотеке своей, как улитка в раковине, *cochlea vitam agens*. По несчастью, Скиль, только эту раковину мог я предложить бедной молодой сироте.

– Мистер Какстон, я уважаю вас! сказал с восторгом г. Скиль, и так живо припрыгнул на креслах, что пролил целую ложку горячего пуншу на ноги отца моего. У вас прекрасное сердце, и теперь понимаю, за что жена ваша так любит вас. Наружность у вас холодная, между тем я вижу, что и теперь у вас на глазах слезы.

– Не мудрено, отвечал отец, вытирая ноги: пунш этот совсем кипяток.

– Сын ваш будет утешением отца и матери, продолжал Скиль, не замечая в дружеском волнении, что обварил своего собеседника. Он будет голубь мира в вашем домашнем ковчеге.

– Не сомневаюсь, жалобно возразил отец. Только эти голуби не хорошо кричат вскоре после рождения. *Non tedium avium cantus somnum reducunt*. Впрочем, могло быть хуже: у Леды родились двое близнецов.

– На прошедшей неделе, мистрис Барнабас также родила двойни, сказал акушер. Но кто знает, что вам предназначено в будущем? Пью за здоровье вашего наследника, за здоровье будущих его братьев и сестер!

– Братьев и сестер! Надеюсь, что Мистрис Какстон об этом не заботится, вскричал с негодованием отец; она добрая, хорошая жена. Хорошо однажды, а два, три раза – что же тогда со мной будет? – Вот и теперь, уж три дня ни одна бумага не прибрана к месту, ни одно перо не очинено, а я терпеть не могу слабых перьев, мне нужно *cuspidem duriusculam*. Вот и хлебник приносил мне счет. Нет, Скиль, Иллитии неприятные богини.

– Что такое Иллитии? спросил акушер.

– Вам-то именно и должно бы знать это, отвечал отец, улыбнувшись. Иллитиями называют тех женского пола демонов, которые покровительствуют неогилосам, то есть новорожденным. – Имя их дано им Юноной, смотри Гомера книгу XI. – Кстати: мой неогилос как будет воспитан? Как Гектор? или как Астианакс? *Videlicet*, т. е. чье молоко воспитает его? Материнское, или кормилицы?

– А как вам кажется лучше? спросил в свою очередь Скиль, размешивая сахар в стакане. В этом случае, я за долг почитаю соображаться с желанием отца.

– Кормилицу, кормилицу! сказал тогда мой отец, пусть носит она его *ipro kolpro* у груди своей. Знаю все, что писано о матерях, которые кормят или не кормят детей; но бедная моя Кидти так нежна, так чувствительна, что здоровая, добрая крестьянка лучше укрепит нервы сына и самой матери. Да и мне будет лучше; добрая милая Кидти! без неё, я и теперь совсем пропал. Когда ж она встанет, Скиль?

– О скоро! недели через две.

– Тогда мы пошлем неогилоса в школу! кормилицу туда же, и все пойдет прежним чередом, сказал отец, с особенным, ему свойственным выражением таинственной веселости.

– В школу? новорожденного?

– Чем ранее в школу, тем лучше, утвердительно сказал отец; это мнение Гельвеция, и я с ним совершенно согласен.

Глава III.

Часто говорили мне, что я был чудесный ребенок; я этому верю; однако ж я не сам узнал все то, что рассказал вам в предыдущих главах. Поступки отца моего при моем рождении так сильно поразили свидетелей; Г. Скиль и мистрис Примминс так часто повторяли мне все те же подробности, что мне все стало столько же известно, сколько и этим достойным особам. Кажется, вижу перед собою отца в сереньком шлафоре, с улыбкой полунасмешливой, полупростодушной, одному ему свойственной, и слышу, как он соглашается с Гельвеем, чтоб послать меня в школу, тотчас после моего рождения. Действительно, одна только мать могла сказать, что знает отца моего. Иные называли его мудрецом, другие помешанным. Он принимал равнодушно и презрение, и похвалу, подобно Демокриту, как рассказывает Ипократ в письме своем к Домагену. Окрестное духовенство почитало его, называя ученым, живой энциклопедией; дамы смеялись над ним, как над рассеянным педантом, не следующим и простым правилам угодливости. Бедные любили его за щедрую милостыню, но насмеялись над простотой, с какою поддавался он всякому обману. Земледельцы и агрономы благодарили его часто за полезные советы, а между тем все обыкновенные житейские дела предоставлял он матушке, с явною неспособностью действовать самому. Однако ж, если в тех же житейских делах, кто другой требовал от него помощи, взгляд его оживлялся, лице его озарялось внезапной ясностью, и желание быть полезным внушало ему рассудительность житейскую, глубокую. Лениво и неохотно занимался он собственными выгодами, но доброжелательство приводило в движение все пружины спокойной машины.

Мудрено ли, что такой характер был для многих загадкой? Одной только матушке Роберт Пакстон казался лучшим и величайшим из людей. Она поняла его вдохновением сердца: потому отгадывала все выражения его физиономии, и из десяти, девять раз знала наперед, что он намерен сказать. Но и для неё оставалось в этом необыкновенном человеке много тайного, глубокого, куда не мог проникнуть её женский ум! Иногда, слушая его полуслова, его монологи, она начинала сомневаться в себе, или готова была верить помешательству мужа. Это случалось тогда, когда на лице его изображалась сдерживаемая ирония, когда выговаривал юмористическую шутку, смысл которой предоставлял себе самому. В таких случаях, то, что говорил он, могло казаться очень важно, или очень смешно, судя по степени понятливости его слушателей.

Нужно ли прибавить, что тотчас после рождения меня не отправили в школу, по крайней мере в школу, какую разумел Г. Скиль. Комната, в которой я жил с кормилицей, была так отдалена, матушка так заботливо убила войлоками двойную дверь, что отец мог, если хотел, совершенно забыть о моем существовании. Однако же, иногда ему, волею-неволею, напоминали об этом существовании, как напр. при моем крещении. Отец мой по любви своей к уединению, ненавидел все, что подобилося публичным зрелищам и церемониям. С неудовольствием приметил он, что готовится какой-то большой праздник, в котором ему придется играть главную роль. Не смотря на рассеянность, на произвольную глухоту, он слышал, что приятно воспользоваться прибытием епископа в ближний город, и что необходимо нужно достать еще дюжину стаканчиков с сахарным желе. В следствие этого, когда к нему пришли с вопросами о крестном отце и матери, он догадался, что должен отважным усилием освободиться от предстоящей напасти. Когда матушка объявила день, назначенный семьей, то отец вдруг вспомнил, что за двадцать миль объявлен огромный аукцион книг, и что продажа продолжится целые четыре дня. Матушка, которая начинала уже снимать чехлы с кресел в большой гостиной, вздохнула и робким голосом заметила, что это покажется неприличным, что все будут толковать об отсутствии отца моего. «Не лучше ли отложить крестины?»

– Нет, нет, милый друг! отвечал отец. Ведь рано или поздно, крестить надобно. Епископ и без меня обойдется. Не переменяй назначенного дня, потому что тогда аукционер конечно отложит также продажу книг. Я уверен, что крестины и аукцион должны совершиться в одно время.

Возражать было невозможно; но матушка почти без удовольствия dokonчила убранство своей гостиной.

Пять лет позднее, это не могло бы случиться. Матушка поцеловала бы отца моего и сказала: «Не езд!» и отец не поехал бы. Но тогда она была еще очень молода и очень робка, а он, добрый отец мой, не испытал еще домашнего превращения. Одним словом, почтовая коляска подъехала к воротам и ночной мешок уложили в ящик.

– Друг мой, сказала матушка перед отъездом: одну важную вещь ты забыл решить... Прости меня, что я докучаю тебе, но это важно: как будут звать нашего сына? Не назвать ли его Робертом?

– Робертом?.. сказал отец, да Робертом меня зовут.

– Пусть зовут также и сына твоего!

– Нет, нет! живо возразил отец, в этом не будет никакого толку. Как тогда различать нас? Я сам потеряю свою самобытность: буду думать, что меня посадят за азбуку, или мистрис Примминс положит на колена к кормилице.

Матушка улыбнулась, потом, положа ручку на плечо отца моего, – а ручка была у ней прекрасная, – она ласково сказала;

– Не страшно, чтобы тебя с кем-нибудь смешали, даже и с сыном твоим. Если же ты лучше хочешь другое имя, то какое же?

– Самуил, сказал отец. Славного доктора Парра зовут Самуилом.

– Какое гадкое имя!

Отец не слышал восклицания и продолжал:

– Самуил или Соломон. Борнс нашел в этом имени анаграмму Омероса.

– Артур имя звучное, говорила матушка с своей стороны; или Вильям, Гарри, Карл, Джемс: какое же ты выберешь?

– Пизистратус, сказал отец презрительно, отвечая на собственную мысль, а не на вопросы моей матери. Как, неужели Пизистратус?

– Пизистратус, имя очень хорошо, сказала матушка; Пизистратус Какстон! Благодарствую, милый друг; и так назовем его Пизистратус.

– Как, неужели ты со мной не согласна? Ты принимаешь сторону Вольфа, Гейне, Вико? Ты думаешь, это рапсоды.

– Пизистратус, немного длинно, мы будем звать его Систи.

– *Siste viator*, сказал отец; это очень уж пошло.

– Нет, не надобно виатор, Систи просто.

Через четыре дня после этого, возвратясь с аукциона, отец мой узнал, что сын его и наследник носит знаменитое имя тирана Афинского и предполагаемого собирателя поэмы Гомера. Когда же ему сказали, что он сам выбрал это имя, то он рассердился столько, сколько такой невозмутимый человек может сердиться:

– Это ни на что не похоже, вскричал он. Пизистрат крещенный! Пизистрат, живший за 600 лет до Рождества Христова! Боже мой, сударыня! Вы сделали из меня отца анахронизма!

Матушка заплакала, но пособить горю было невозможно. Я был анахронизм, и остался анахронизмом до конца этой главы.

Глава IV.

– Вы конечно, мистер, станете скоро сами воспитывать вашего сына? сказал Г. Скиль.

– Конечно, отвечал отец. Вы читали Мартина Скриблера?

– Не понимаю вас, мистер Какстон.

– Следовательно, Скиль, вы не читали Мартина Скриблера.

– Положим, что я читал его... что ж из этого?

– Только то, Скиль, сказал отец ласково, что тогда вы узнали бы, что, хотя ученый бывает часто дурак, но чрезвычайно, до крайности глуп, когда искажает первую страницу белой книги человеческой истории, пачкая ее пошлыми своими педантизмами. Ученый, то есть такой ученый как я, меньше всех способен учить и воспитывать маленьких детей. Мать, сударь, простая, нежная мать, вот единственная учительница маленького сына.

– По чести, мистер Какстон, не смотря на Гельвеция, которого вы цитировали в день рождения вашего сына, – думаю, что теперь вы совсем правы.

– Горжусь этим, сказал отец, столько горжусь, сколько слабому смертному гордиться позволено. С Гельвещием я согласен в том, что воспитание ребенка должно начинаться с самого рождения, но каким образом? вот тут-то и затруднение. Пошлите его тотчас в школу! Да он и теперь в школе, с двумя великими учителями: природой и любовью. Заметь то, что дитя и гений находятся под властью одинакового органа любопытства. Дайте волю дитяти, и, всходя от одной точки с гением, оно может дойти до того же, до чего доходит гений. Один Греческий автор рассказывает нам, что некто, желая избавить пчел своих от далекого летания на гору Гимет, обрезал им крылья и пустил их в цветник, наполненный самыми душистыми цветами. Бедные пчелы не набрали меду. Так и я, мой милый Скиль, если б собрался учить моего малютку, то обрезал бы ему крылья и посадил бы на те цветы, которых ему самому нарвать следует. Предоставим его покуда природе и той, которая представляет природу, матери его.

Говоря таким образом, отец показал пальцем на своего наследника, который валялся по дерну и рвал полевые астры; неподалеку мать глядела на него, улыбаясь, и ободряла его мелодическим своим голосом.

– Вижу; сказал Г. Скиль, что я не очень разбогатею визитами к вашему сыну.

Благодаря таким правилам, я рос здорово и весело, выучился складывать, потом пачкать большие буквы, благодаря совокупным стараниям матери и няньки моей Примминс. Примминс принадлежала к древней породе верных слуг-сказочниц, которая теперь уже выводится. Она прежде выходила мать мою, и теперь любовь её возобновилась к новому поколению. Она была из Девоншира, а женщины Девоншира, особливо те, которые живут близко от берегов моря, все вообще суеверны. Она знала невообразимое множество чудесных рассказов. Мне еще не было шести лет, когда я знал уже всю первобытную литературу, в которой заключаются легенды всех народов: *Мальчик с пальчик*, *Кот в сапогах*, *Фортунио*, *Фортунатус*, *Жак победитель великанов*, и пр. предания, или басни, знакомые под разными видами робкому обожателю Будды и свирепому поклоннику Тора. Могу, без тщеславия, сказать, что если б меня экзаменовали в этих творениях народного воображения, то я с честью и славой выдержал бы самый строгий допрос.

Матушка усомнилась наконец в пользе такой глубокой учености, и пришла посоветоваться с отцом.

– Друг мой, отвечал он тем тоном, который всегда ее смешивал, потому что она не могла различить, шутит ли он, или говорит серьезно, – иные философы могли бы в этих баснях найти символические значения самой высокой нравственности. Я сам написал трактат о том, что *Кот в сапогах* есть аллегория успехов человеческого разума. Эта аллегория родилась в мистических

школах жрецов Египта, в Фивах, в Мемфисе, где обожали кошек города; они были религиозными символами, мумии их тщательно хранились.

– Милый Роберт, сказала матушка с изумлением, поднявши голубые глаза свои, неужели ты думаешь, что Систи все эти красоты отыщет в обутом коте?

– Милая Кидти, возразил отец, ты и сама не думала, когда удостоила меня согласиться быть моей подругой, что найдешь во мне все красоты, которые я вычитал в книгах. Ты видела во мне невинное существо, по счастью, тебе угодное. Мало по малу ты узнала, что во мне заключается целый мир идей, начитанных в больших моих in-quarto, которые хотя для самого меня остались еще тайной, но однако же меня в твоих глазах не испортили. Если Систи, как ты сына называешь, для избегания вероятно, этого проклятого анахронизма, – если Систи не отыщет Египетской мудрости в *Коте в сапогах*, что нужды! Кот в сапогах невинная сказка, которая забавляет его воображение. Можно назвать мудростью все, что невинным образом возбуждает любопытство: то, что в младенчестве нравится воображению, изменяется после в любовь к науке. И так, моя милая, возвратись спокойно к своему сыну.

Не думай однако же, читатель, что лучший из людей был в глубине сердца равнодушен к докучливому своему негилосу, потому что казался так равнодушен в минуту моего рождения и так небрежно смотрел на первое мое воспитание. Выстав, я убедился, что бдительный взор отца следит за мною. Помню очень одно происшествие, которое является мне теперь, при обзоре всего прошедшего, кризисом моей младенческой жизни и видимой связью моего детского сердца с этой великой и спокойною душою.

Это было в Июне. Отец сидел на лужайке перед домом, с надвинутой на глаза соломенной шляпой и с книгой на коленях. Вдруг, драгоценная фарфоровая ваза, стоявшая на окне верхнего этажа, с громом упала к ногам отца и осколками своими попала в него. Подобный Архимеду при осаде Сиракуз, батюшка продолжал читать: *Impavidum ferient ruinae*.

– Ах, Боже мои закричала матушка, сидевшая за работой под навесом: моя прекрасная, голубая ваза которую я так любила! Кто мог столкнуть ее? Примминс! Примминс!

Мистрис Примминс высунула голову из несчастного окошка, и поспешно сбежала вниз, бледная и запыхавшись.

– Ах, сказала печально матушка, лучше бы погибли все мои тепличные растения, лучше бы разбили мой хороший чайник, мои прекрасные Японские чашки! Этот чудный гераниум, который я сама вырастила, эта дорогая ваза, которую Какстон подарил мне в последний день моего рождения! Верно этот дурной мальчишка сбросил мою вазу!

Мистрис Примминс очень боялась отца моего; за что – не знаю. Кажется, будто все словоохотные особы боятся немного молчаливых и погруженных в себя. Она мельком взглянула на господина, и приметя, что и он становится внимателен, вскричала:

– О нет, сударыня! Это не ваш милый Систи, сохрани его Бог! это я виновата.

– Ты? Как же ты могла? О Примминс! ты знала, как я любила мой гераниум и мою вазу! Примминс зарыдала.

– Не лги, няня, закричал звонким голоском Систи, и отважно выбежав из дома, продолжал с живостью:

– Не браните нянюшку, маменька! я сбросил вазу.

– Молчи! сказала испуганная няня, обращаясь к отцу, который снял шляпу и смотрел очень серьезно на происходящее. – Молчи, Систи! Он нечаянно уронил вазу, сударыня! Право, нечаянно! Говори же Систи! видишь, папа сердится!

– Хорошо, сказала матушка, верю, что это случилось нечаянно: будь осторожнее вперед, дитя мое. Тебе жаль, что ты огорчил меня. Поди сюда, поцелуемся, и переставь хмуриться.

– Нет, маменька, не целуйте меня: я этого не стою. Я нарочно бросил вазу.

– А, а! сказал отец, подходя ко мне. Для чего же?

Мистрис Примминс дрожала как лист.

– Так – пошутить отвечал я, покачивая головою; мне хотелось посмотреть, какую вы, папенька, сделаете на это гримасу. Вот вся правда. Теперь накажите меня! накажите!

Отец бросил книгу шагов на сорок от себя, нагнулся, поднял меня на руки и сказал;

– Сын мой, ты сделал дурное дело. Ты исправишь его, вспоминая всю жизнь, что отец твой благодарит Бога, даровавшего ему сына, который сказал правду, не побоясь наказания. А вы, мистрис Примминс, попробуйте научить его еще раз подобным басням, и мы расстанемся с вами на век.

Через это приключение стало мне ясно, что я люблю отца, и что отец меня любит. С тех пор начал он разговаривать со мною. Когда мы встречались в саду, он уж не по-прежнему улыбался, глядя на меня, и кивал головою, но останавливался, клал книгу в карман, и хотя разговор его был выше моего понятия, однако я чувствовал, что становлюсь лучше, счастливее, что, вспоминая его, вырастаю умом. Вместе урока или нравоучения, он клал мне в голову мысль, и давал ей бродить и развиваться по воле. Для примера сообщу продолжение истории о гераниуме и разбитой вазе.

Г. Скиль, старый холостяк, был очень не скуп и часто приносил мне маленькие подарки. Вскоре после рассказанного приключения, принес он мне вещицу, превышающую ценою обыкновенные детские подарки. Это было прекрасное домино, костяное с золотом. Домино это радовало меня несказанно. Но целым часам играл я им, и на ночь прятал под подушку.

– Кажется, ты любишь домино больше всех твоих игрушек, сказал однажды отец, увидевши, как я в гостиной раскладывал свои костяные параллелограммы.

– О, папенька, больше всех!

– И очень тебе будет жалко, если маменьке твоей вздумается бросить его из окошка и разбить?

Я посмотрел на отца умоляющим взором и не отвечал ничего.

– Может статься, ты был очень счастлив, продолжал он, если бы одна из этих добрых волшебниц, о которых ты так много слышал, вдруг превратила твой ларчик с домино в прекрасную голубую вазу с прекрасным гераниумом, и ты мог бы поставить его на окно маменьки?

– О, конечно, я был бы очень рад! отвечал я с намернувшейся слезою.

– Верю тебе, друг мой, но добрые желания не исправляют дурного дела. Добрые поступки исправляют дурные дела.

Сказавши это, он затворил дверь и ушел. Не знаю, до какой степени голова моя возмущилась загадкой отца моего, но во весь тот день я не играл в домино. На другое утро, увидев, что я сижу один под деревом в саду, он подошел ко мне, остановился и, спокойным своим взором осмотревши меня, сказал:

– Дитя мое, я иду гулять до самого города. Хочешь идти со мною? Да кстати, возьми в карман свое домино, я хочу его показать одному человеку.

Я побежал за ларчиком домой, и мы пошли вместе. С гордостью шел я подле отца по большой дороге.

– Папенька, сказал я, вспоминая вчерашний разговор, теперь уже нет на земле волшебниц?

– А на что тебе они?

– Без волшебницы кто же может превратить мое домино в голубую вазу и в прекрасный гераниум!

– Друг мой, сказал отец, положив мне на плечо руку, всякий человек, который хочет добра серьезно, не шутя, носит при себе двух волшебниц: одну здесь (он указал мне на сердце), другую тут (и пальцем тронул лоб мой).

– Папенька, я не понимаю.

– Подожду, пока поймешь, Пизистрат!

Мы пришли в город; батюшка остановился в лавке садовника, смотрел разные цветы, и указывая мне на махровый гераниум сказал:

– Вот этот гераниум еще лучше того, который мать твоя так любила... Какая цена этому гераниуму?

– Семь шиллингов, отвечал садовник.

Отец застегнул карман, в котором лежал кошелек. – Сегодня нельзя мне купить его, сказал он, и мы вышли.

Далее подошли мы к фарфоровому магазину.

– Есть у вас цветочная ваза, похожая на ту, которую я купил у вас прошлого года? спросил отец у купца. Ах, вот такая же, и цена назначена та же: три шиллинга. Ну, дитя мое, мы купим эту вазу, когда приблизится день рождения твоей матери. До того дня еще несколько месяцев, но мы ждать можем; очень можем, Систи; истина, которая цветет целый год, лучше бедного гераниума, и сдержанное обещание лучше всякого украшения на окнах.

Я нагнул голову, но скоро поднял ее, и радость, с какою билось сердце, чуть не задушила меня.

– Я пришел с вами счесться, сказал отец, входя в лавку, где продавались всякие вещи, бумажные, бронзовые, и пр. предметы прихоти. – И пока купец доставал счет свой, – кстати, продолжал отец, сын мой может показать вам прекрасный, привезенный из Франции, ларчик с домино. Покажи свой ларчик, Систи.

Я достал мое сокровище, и купец стал хвалить его.

– Не худо знать всегда цену вещи, продолжал отец: случится может надобность продать ее. Скажите нам пожалуйста, если сыну моему надоест домино и вздумается продать его, сколько вы за него дадите?

– О, отвечал купец, охотно дам ему 18 шиллингов, и больше осьмнадцати, если захочет променять на другую какую вещь.

– Осьмнадцать шиллингов! вы дадите ему 18 шиллингов! Ну, сын мой, если захочешь когда-нибудь продать свое домино, то охотно тебе позволяю.

Отец заплатил счет и вышел. Я пропустил его я остался в лавке; через несколько минут, догнал его на улице.

– Папенька! папенька! кричал я, хлопая в ладоши: мы можем купить голубую вазу... И вынул из кармана горсть шиллингов.

– Видишь, что я прав, сказал отец, утирая глаза; ты отыскал двух волшебниц.

О! с каким счастьем, с какой гордостью уцепился я за платье матушки и потащил ее в комнату, когда поставили туда на окно прекрасную вазу с гераниумом.

– Это купил он сам! на собственные деньги, сказал отец. Добрым поступком исправлен прежний дурной.

– Возможно ли! вскричала матушка, когда ей все рассказали. Прекрасное твое домино, которым ты так радовался! Завтра же пойдем в город и выкупим его, хоть за двойную цену!

– Идти ли нам выкупать домино, Пизистрат? спросил отец.

– О, нет! нет! нет! этим все испортится! сказал я, скрывая голову на груди отца.

– Кидти! сказал торжественным голосом отец: вот мой первый урок сыну; я хотел, чтобы он испытал святое счастье пожертвования собою... пусть помнит он его во всю жизнь.

Тем кончилась история гераниума и разбитой вазы.

Глава V.

Между седьмым и восьмым годом, со мной сделалась перемена, которая не удивит родителей, наслаждающихся тревожным счастьем воспитывать единственного сына. Живость и веселость, свойственные детям, исчезла, я сделался тих и задумчив. Отсутствие детей одного со мной возраста, общество людей зрелых, сменяясь с совершенным уединением, преждевременно образовала во мне воображение и разум. Странные сказки, рассказанные мне нянюшкой во время прогулок наших летом, у камина зимою; усилия юного моего разума, чтобы понять глубокую мудрость косвенных уроков отца: все вместе питало во мне склонность к мечтательности, и пленяло, как утренняя борьба между сном и бдением. Я любил читать и писал скоро и охотно; начинал уже покрывать различными опытами сказок белые страницы тетрадей, данных мне для грамматики или арифметики. Больше всего смущалась душа моя чрезмерностью семейной нашей любви: было что-то болезненное в моей привязанности к отцу и к матери. Я плакал иногда при мысли, что ничем не могу вознаградить их за любовь, придумывал различные опасности, которым подвергался бы для их спасения. Все такие ощущения расстраивали мои нервы. Явления природы сильно на меня действовали, и я с беспокойным любопытством отыскивал тайну радостей моих и слез. С этой сентиментальной метафизикой соединилось еще честолюбие науки: мне хотелось, чтобы отец толковал мне химию и астрономию; чтобы Г. Скиль, страстный ботаник, открыл мне тайны жизни цветов. Музыка особенно сделалась любимейшей моей страстью. Матушка родилась артисткой; она аккомпанировала себе с гениальным вкусом; невозможно было слушать равнодушно её пения. Будучи дочерью ученого, женою ученого, она совершенно бросила книги и все прочие приятные искусства, чтобы предаться музыкальному своему влечению. С восторженной меланхолией проводил я целые часы, принимая в душу её пение. Легко представить себе, какое превращение такой образ жизни произвел в моем детском нраве, и как мало по малу вредило оно моему здоровью: я худел, сделался вял, уныл, жаловался на головную боль, на боль желудка. Призвали Г. Скиля.

– Крепительных, крепительных! сказал Г. Скиль. Не давайте ему углубляться в книги, пусть играет больше на воздухе. Поди сюда, друг мой; вот этот орган слишком много развит! (Г. Скиль был френолог и показал пальцем на лоб мой.) О! о! вот шишка идеализма.

Отец положил свои манускрипты, и стал ходить по комнате, не говоря ни слова, до самых тех пор, пока Г. Скиль уехал.

– Друг мой, сказал он тогда матушке, к груди которой я прижимал свою шишку идеализма, друг мой, Пизистрата надобно отправить в пансион.

– Сохрани Бог, Роберт! в такие лета!

– Ему скоро девять лет.

– Он так много знает для своих лет!

– Именно потому-то и надобно ему быть в пансионе.

– Не понимаю тебя, мой друг. Правда, я ничему не могу научить его; но ты, – ты такой ученый...

Отец взял руку матушки и сказал:

– Теперь ни ты, Кидти, ни я, ничему научить его не можем. В пансионе найдутся учителя...

– Педагоги, вероятно невежи в сравнении с тобой.

– Нет, не педагоги, а маленькие товарищи, которые опять превратят его в ребенка, сказал печально отец. Милая жена, помнишь ли орешник, посаженный нашим садовником? Ему было уж три года, и ты считала уже, сколько орехов принести он может, когда вдруг нашла, что его срезали почти до корня. Тебе стало досадно, но что сказал садовник? «Не надобно, сударыня,

чтобы слишком молодое дерево приносило плоды.» – И здесь что же мы обязаны сделать?
Остановить развитие плода, чтобы продлить жизнь растения.

– Поеду в пансион, сказал я, поднимая слабую голову и улыбаясь отцу.

Я тотчас понял его причины, и казалось, что голос жизни моей отвечал за меня.

Глава VI.

Год спустя после исполнения предположенного плана, я возвратился домой на время вакаций.

– Хорошо ли учится Систи? сказала мать. Мне кажется, что он совсем не так умен стал и понятлив, как был до отъезда в пансион. Поэкзаменуй его, Роберт.

– Я уж экзаменовал его, милая, и очень доволен. Он, теперь именно, таков, каким я надеялся, что будет.

– Как, тебе кажется, он сделал успехи? сказала мать.

– Теперь он и не думает о ботанике, сказал Г. Скиль.

– А как он прежде любил музыку! со вздохом сказала матушка. Ах Боже мой! что это за стук!

– Это пушка сына твоего выстрелила в окно, сказал отец. И счастливо еще, что в окно, а не в голову Скиля, как метил он вчера.

– Вчера попал он мне по левому уху, сказал Г. Скиль, и теперь еще больно. А вы довольны, мистер Какстон?

– Доволен; мне кажется, что мальчик наш стал также ветрен и такой же невежа, как большая часть мальчишек в его лета, заметил отец с радостным лицом.

– Что ты говоришь, Роберт! невежа!

– Зачем же другим посылал я его в пансион? возразил отец мой, и заметив удивление, выразившееся на лицах жены и Скиля, встал, подошел к камину, положил руку в жилет, что делал он всегда, когда готовился изъяснить какую-нибудь философскую свою систему, и сказал: Доктор Скиль, у вас велика практика?

– Слишком велика, отвечал добрый врач; я ищущ себе помощника.

– Во многих домах, где вы лечите, могли вы конечно заметить детей, которых отец, мать, дяди, тетки, провозглашают необыкновенными чудами?

– По одному в каждом доме, отвечал смеясь, Скиль.

– Легко утверждать, что эти чуды, эти гении кажутся таковыми родительскому пристрастью; совсем нет. рассмотрите сами ребенка: вы изумитесь, увидев, какое у него алчное любопытство, живая понятливость, быстрый ум, нежное чувство. Случается даже, что какая-нибудь способность широко развернулась: дитя, склонный к математике, сделает вам модель парохода; рожденный с поэтическим ухом напишет поэму в роде тех, которые выучил в хрестоматии, или будет страстным ботаником, как Пизистрат, или хорошо будет играть на фортепиано. Вы сами, доктор, скажете, что такое дитя чудо.

– По чести, много истины в том, что вы говорите, отвечал Г. Скиль. Маленький Том Добес чудо; маленький Франк Стонингтон тоже; а маленького Джони Стейкс приведу когда-нибудь сюда, чтоб вы послушали, как он рассуждает об натуральной истории и как распоряжается своим маленьким микроскопом.

– Избави меня Бог! сказал отец; но дайте мне досказать. Эти чуды, эти *thaumata*, на долго ли они? До тех пор, пока отправят их в пансион, и тогда эти *thaumata* исчезают, как призраки при пении петуха. Поживет год в пансионе, и ни отец, ни мать, ни дяди, ни тетки, не станут докучать вам рассказами о его подвигах и речах. Необыкновенное дитя делается обыкновенный дитя делается обыкновенным мальчишкой. Не так ли, Скиль?

– Вы совершенны правы, мистер Какстон. Странно мне одно, как вы все это заметили, когда кажется, будто вы...

– Тс, перервал его отец, и обернувшись к смутившейся матушке, сказал, утешая ее: Успокойся, милая! это все премудро устроено, все к лучшему.

– Виновата школа, сказала матушка, качая головою.

– Нет, полезна школа, милая Кидти. Оставь дома одного из этих необыкновенных детей, это чудо, в роде нашего Систи, что будет? Голова вырастет велика, а тело станет худеть больше и больше. – Не правда ли, Скиль? Голова будет отнимать у тела питание, до тех пор, пока, в свою очередь, болезненное тело уничтожит ум. Видишь, какой прекрасный дуб стоит посредине этой лужайки? Если б его выращивал Китаец, то пяти лет вышло б из него миниатюрное дерево, а ста лет, его можно бы поставить на стол в хорошенькой вазе. Сначала привлекал бы он любопытство ранним своим развитием, потом двойное еще внимание, состарившись карликом. Нет, нет, школа есть оселок таланта; возвратите будущего карлика в его детской натуре, пусть вырастает он здорово, медленно и естественно. Может статься, не будет он *великим*, но за то будет человеком, а это лучше, чем всю жизнь остаться Джонни Стенксом, или дубом в пилюльной коробочке.

В эту минуту я вбежал в горницу, запыхавшись, покрасневшись, цветущий здоровьем, сильный и чувствуя, что детское сердце бьется у меня в груди.

– Маменька, кричал я, подите сюда, я пустил змей, – высоко, высоко... подите, посмотрите! Папенька, придите и вы.

– Охотно, отвечал отец, только не кричи так громко; змеи поднимаются без всякого крика, а видишь, летают высоко над нами. Пойдем, Кидти, где моя шляпа? Ах, благодарствуй, дитя мое... Кидти, сказал отец, смотря на змей, который, привязанный к воткнутому в землю колу, тихо плавал под небесами: кто знает, наш змей не поднимется ли также на такую же высоту? В душе человеческой есть больше способности возвышаться, нежели в нескольких листах бумаги, наклеенной на палочки; заметь, однако, что его надобно несколько придерживать привязать к земле, не то пропадет в пространстве, и чем выше он летает, тем длиннее нужно спускать ему веревку.

Глава VIII.

Двенадцати лет я был первым в школе, куда меня поместили; мне стали искать другую, достойнее юного моего честолюбия. В течение последних двух лет, я снова пристрастился к науке; но это была не болезненно-мечтательная страсть, а любовь бодрая, деятельная, подстрекаемая соревнованием и укрепленная успехами.

Отец не думал уже сдерживать умственные мои усилия. Он так уважал науку, что невольно желал видеть во мне ученого, хотя несколько раз печально повторял мне:

– Дитя мое, обладай книгами, но не давай им обладать тобою. Читай и живи, но не живи для одного чтения. Довольно в семье одного невольника науки: мое рабство не должно быть наследственное.

В следствие этого, отец искал для меня школы высшей, и слава филелинического института доктора Германа достигла до его сведения.

Этот славный доктор Герман был сын Немецкого музыканта, поселившегося в Англии; он кончил свое воспитание в Бонне, в университете; но увидев, что наука слишком дешевый и общий товар в Германии, решил на Английской почве основать школу, которая стала бы эпохой в истории ума человеческого. Доктор Герман был один из первых преобразователей новейшего способа учения. Эти преобразователи умножились с тех пор, и подорвали бы классические наши пансионы, если бы эти последние не перенимали некоторых полезных нововведений, из их путаницы.

Доктор Герман напечатал многие сочинения против всех существующих метод. Всех известнее было сочинение против *мерзостного* способа учить складам.

Вот вступление славного этого трактата:

«Никогда отец всякой лжи не выдумывал ничего лживее, коварнее и безрассуднее того обмана, которым мы затемняем самые светлые истины правды, проклятою нашей системой складов!»

«Возьмите, напр., односложное слово *cat* как осмелитесь вы приказать ребенку выговорить кат, три буквы которые, назовете: си, ей, ти? Надобно сказать сиейти, а не кат. – Может ли быть удачным воспитание, начинающееся такой необъятной ложью? Можно ли удивляться отчаянию матерей, преподающих азбуку?»

Читатель поймет из приведенного примера теории воспитания, что доктор Герман начал с начала. Он храбро схватывал быка прямо за рога. Во всем остальном допуская широкое правило эклектизма, он соединил все новейшие изобретения: взаимное обучение Беля и Ланкастера, методы Гоффиля и Гамильтона, живописные азбуки, и анализированные картины; подобно охотнику, вооруженному ружьем, соединяющим кремь и капсюли... и который, увы! тем не лучше стреляет дичь и зайцев! – Между тем доктор Герман действительно преподавал многое, о чем в других школах не заботились; кроме Греческого и Латинского языков, в его программу входили все так называемые полезные сведения. Он платил профессорам химии, механики и натуральной истории; были курсы математики и физики; все возможные гимнастические упражнения предлагались во время игры и отдохновения, – и если ученость воспитанников не весьма была глубока, то, по крайней мере, простиралась в широком размере, и никто не оставался пяти лет у доктора Германа, не выучившись чему-нибудь, чего нельзя сказать обо всех школах. У него мальчик научался видеть, слышать и действовать членами; приобретал привычку к порядку, опрятности и деятельности. Пансион этот нравился матерях и удовлетворял отцов. Одним словом, он благоденствовал, и в то время, о котором я говорю, у доктора Германа было больше ста учеников. Нужно еще прибавить, что, начиная ремесло педагога, сострадательный мудрец объявил самое человеколюбивое отвращение от телесных наказаний. Но, увы! по мере того, как увеличивалось число воспитанников, он мало по малу отречался

от почтенного отвращения от классических розг. С великой горестью дошел он до заключения, что «есть скрытные источники, которые открыть можно только посредством гадательной лозы.» И испытав, как легко березовая лоза управляет всем механизмом его маленького государства, он подвигал филеленический институт, как школьник движет волчок свой, беспрепятственными взмахами розги.

К сожалению, должно сознаться, что это печальное отступничество начальника академического пансиона нисколько не убавило его славы: напротив, он показался более естественным, больше Английским, меньше чужеземным. Вовремя самого высшего блистания этой славы, очутился я под гостеприимным кровом доктора Германа, с туго набитым чемоданом и с большим пирогом в дорожной сумке.

Между многими странностями доктора Германа, одной предавался он вернее, нежели первобытным статуам нетелесного наказания. Для неё, выставлено было большими золотыми буквами на фронтоне заведения:

Филеленический Институт.

Он принадлежал к той знаменитой категории ученых, которые воюют с нашей народной мифологией, и изменяют все предания имен древних, преподаваемых в Этоне и в Гарроуе. – Одним словом, он силился ввести совершенную правильность в искаженное правописание имен Греческих. Негодование его не знало мер, когда школьники смешивали Зевса с Юпитером, Арея с Марсом, Артемиду с Дианой.

– Как! восклицал он, слушал какого-нибудь новичка, который не забыл еще своей прежней грамматики: как, что вы разумеете под именем Юпитера, которым вы перевели Зевса? Разве Бог Олимпа с эгидой и орлом, бог влюбленный, вспыльчивый, гонящий облака, похож сколько-нибудь на важного, торжественного, нравственного Юпитера Капитолийского? на *deus optimus, maximus?*.. который возмущился бы от одной мысли превратиться в лебедя или быка, чтобы догнать невинную фрейлейн!.. Я вас спрашиваю, Г. Симкинс!

Юный Симкинс не смел противоречить доктору Герману.

– А вы, говорил он, обращаясь к другому преступнику, как могли вы перевести Арея Гомерова, дерзким, пошлым именем Марса? Арей, г., Джон, Арей, ревуший подобно десяти тысячам людей; ревуший, как вы заревете, когда в другой раз назовете его Марсом! Арея челоукоубийцу не отличать от Марса или Маворса, украденного Римлянами у Сабинян! Марса, важного и спокойного покровителя Рима! Г. Джон, Г. Джон! стыдитесь самого себя!

И поднявши к небу руки, украшенные перстнями, добрый доктор забывал скрывать Немецкое свое произношение, и восклицал почти вне себя:

– А ты Афродита! ты, превратившая Адониса в анемон, тебя называет Венерой сопливый г. Бударфиль! Венерой, пребывающей при погребениях, грязных ямах и всяких нечистотах! О *mein Golt!* подойдите сюда Г. Бударфиль, вам за то будет розга! Да, нечестивый, я должен вас высечь.

Само собою разумеется, что и мое несчастное Греческое имя подпало вод очистительный разбор моего учителя филэллина. Под первым заданным мне сочинением, самым лучшим почерком подписал я крупно: Пизистратус Какстон.

– И ваш батюшка слывет ученым? сказал презрительно доктор Герман. Ваше имя Греческое, и потому извольте писать его прибавляя *e* и *o*, Пейзистратос. Не забудьте поставить кавычку над *и*. Можете ли вы надеяться выйти чем-нибудь порядочным, Г. Какстон, если не занимаетесь собственным вашим именем и равнодушно пропускаете *e* и кавычку, и ставите ус, вместе от! Ах, *mein Golt!* в последний раз прощаю вам это ужасное искажение: *Пи*, а не *Пей!*

Когда в первый раз после этого, писал я к отцу, скромно напоминая ему, что у меня мало остается денег, по хочется купить ракетку, и что любимое божество нашей школы было *woncta, diva monela* (Латинская или Греческая все равно) – то с классической гордостью под-

писал: преданный ваш сын, Пейзистратос. – Следующая почта сбила немного мое школьное торжество: вот какое письмо получил я:

«Любезный сын.

Я своих старинных, знакомых Фукидита и Пизистратуса предпочитаю Фукидитосу и Пейзистратосу. – Пизистрат может забавляться ракеткой, но я не нашел никакого Греческого авторитета, по которому мог бы предположить, что этой игрой занимались Греки, во времена Пейзистратоса. Рад бы послать тебе драхму, или другую какую монету, употребляемую в Афинах, но, к сожалению, таковой не имею.

«Твой любящий тебя отец, Р. Какстон.»

Это было первое неудобство, произведенное печальным анахронизмом, сокрушавшим отца моего. Между тем опытность научает всяким уступкам на поприще света. Пейзистратос продолжал подписывать сочинения и переводы, а второе письмо с подписью Пизистрата доставило и ракетку и нужные деньги.

Глава VIII.

Мне было около шестнадцати лет, когда, возвратившись домой на vacationное время, нашел я брата матери моей, поселившегося между нашими домашними Ларами. Дядя Джак (так звали мы его) был веселый собеседник и весьма пылкий рассказчик, промотавший три раза порядочное состояние, из желания приобрести большое богатство. Дядя Джак был спекулянт; но во всех своих спекуляциях он, казалось, никогда не думал о самом себе: одно счастье ближних его занимало; а в этом неблагодарном свете кто может положиться на ближних? Вошедши в совершенные лета, дядя Джак получил от деда с материнской стороны в наследство 6000 фун. стерлингов. Ему показалось, что ближние его нагло обманываются портными своими. Эти артисты, старинной Английской пословицей названные девятой частью человека, вознаграждали себя за эти дробы, требуя в девять раз больше нужного, для одежды, которую образование и климат сделали нам необходимее, чем предкам нашим, Пиктам. Из чистой филантропии, дядя Джак основал *«благотворительное общество национальной одежды»*. Это общество бралось доставить публике панталоны из лучшего Саксонского сукна по 7 шиллингов за пару, фраки из превосходного сукна по 2 ф. стер. и жилеты, по весьма умеренной цене за дюжину. Все это должно было составляться паровыми машинами. Таким образом негодяи портные могли бы уничтожиться, и человечество облеклось бы в одежду за тридцать на сто процентов, в пользу филантропов. (Но эта польза была второстепенным расчетом.) Не смотря на очевидную благодетельность такой человеколюбивой спекуляции, не смотря на неопровержимые доводы и расчеты, на коих было основано общество, оно расстроилось и уничтожилось совсем, жертва невежества и неблагодарности ближних. Из шести тысяч фунтов стерлингов, дяде Джаку осталась пятьдесят четвертая часть собственности в небольшой паровой машине, большое количество готовых панталон и личное ручательство директоров филантропического общества.

Дядя Джак исчез из Лондона и пустился путешествовать. То же филантропическое чувство, которое одушевляло спекулянта, сопровождало путешественника; он везде подвергал опасностям свою особу, также как прежде кошелек свой. Дядя Джак питал особенную склонность к страждущему человечеству. Как скоро на весах мира опускалась одна сторона, дядя Джак бросался в другую, надеясь ее перевесить. Попеременно вмешивался он в ссоры и войны Греков (они тогда были в войне с Турками), Мексиканцев, Испанцев. Сохрани меня Бог, осуждать или смеяться над такую великодушную страстью; но, увы! всякий раз, как народ какой повержен в беду, всякий раз возникает спекуляция. С Греческой, Мексиканской, Испанской судьбой, связаны необходимо подписки и займы. Патриоты, поднимая одной рукой меч, стараются впустить другую в карман соседей своих. Дядя Джак был в Греции, оттуда в Испании, оттуда в Мексике, и без сомнения, принес великую пользу этим народам, потому, что возвратился с неоспоримым доказательством их благодарности, тремя тысячами ф. стер. — Вскоре после того появилось объявление о «новой, великой, народной, благодетельной компании застрахования для ремесленного сословия.» — Программа провозглашала сперва великие выгоды общества, приучающего к предусмотрительности посредством застрахования; потом вычисляла всю необъятную цену, положенную за подписку в существующих компаниях, недостаточных нуждам честного ремесленника; наконец уверяла, что новая компания руководствуется самыми чистыми намерениями благотворительности, и доказывала, что самая меньшая сумма, долженствующая приходиться на часть каждого подписчика, не может быть менее двадцати четырех процентов на сто.

Под счастливыми предзнаменованиями учредилась эта новая компания; один архиепископ согласился быть президентом совета правления, с условием участвовать только своим именем. Дядя Джак, под громким названием, «знаменитого филантропа Джона Джонеса Тиб-

бета, эсквайра,» – был почетным секретарем общества, а капитал назначен в два миллиона фунтов стерлингов.

Но невежество ремесленных сословий так в них закоснело, – так не ясно видели они, какую приобретали выгоду, подписывая каждую неделю один шиллинг, с двадцать первого года до пятидесяти лет, и тем обеспечивая на старость 18 фун. стер. ежегодного дохода, что компания лопнула, как водяной пузырь, а с нею испарились и три тысячи ф. с. дяди Джака. Целые три года не было об нем слуху. Он облекся таким непроницаемым мраком, что по смерти тетки, сделавшей его наследником маленькой фермы в графстве Корнвалийском, нужно было напечатать во многих журналах уведомление: «что если угодно будет Сэру Джону Джонесу Тиббету, явиться к Г-дам Брунелю и Тину из Лотбури, между десяти часов утра до четырех по полудни, то услышит нечто до него касающееся.» – Этот вызов подействовал магически, и дядя Джак отыскался. Новый владелец водворился в спокойной ферме своей с неописанным удовольствием. Это владение, содержащее в себе около двух сот акров, было весьма в хорошем состоянии. Оно, под управлением дяди Джака, продолжало цвести и улучшаться целые два года, выключая, однако, тридцати акр пашни, удобренной двумя химическими препаратами, которые доставили владельцу жатву с колосьями, покрытыми черными пятнышками, словно оспою. По несчастью, однажды дядя Джак нашел слой земляного угля посреди поля, засаженного репою: через неделю после этой находки, весь дом наполнился инженерами и натуралистами. Не прошло месяца, и явилась программа, написанная дядей Джаком, программа большой национальной компании антимонополированного земляного угля, основанной в пользу небогатых капиталистов и в подрыв чудовищной монополии земляного угля Ньюкасталя:

«Огромная жила лучшего земляного угля отыскана недавно во владении знаменитого филантропа Джака Джонеса Тиббста. Известный инженер Жил Компас испытал и обозрел ее, и она обещает неистощимый источник разработки трудолюбивым людям и богатства капиталистам. рассчитано, что при самом устье Темзы можно отдавать воз лучшего угля за 18 шиллингов, что доставит акционерам 18 на сто процентов. Акции в 80 ф. ст. Можно платить в пять сроков. Нужный капитал состоит из одного миллиона стерлингов. Адресоваться для подписки к Гг. Брунелю и Тин, нотариусам в Лотбурей.»

Ближние дяди Джака могли теперь, вместе с ним, опирать твердо надежды свои: у них была земля, уголь и неистощимая жила. Акционеры и капитал явились на вызов. Дядя Джак так убежден был в несомненности огромного богатства, и такое питал желание уничтожить Ньюкестельскую монополию, что отказался от очень дорогой цены, которую ему предлагали за покупку его владения. Он остался главным акционером, переехал в Лондон, завелся каретой и начал давать обеды товарищам своим в комитете управления. Целые три года компания процветала: она предоставила распоряжение разработкой известному инженеру Жилу Компасу, который исправно платил подписчикам 20 пр. с их вложенного капитала. Акции возвысились до 100 пр. и в самое это время Жиль Компас совсем неожиданно переехал в Соединенные Штаты, где для его гения открывалось обширнейшее поприще, тогда только узнали, что угольная жила исчезла под широкой лужей воды, и что Г. Компас платил акционерам из собственного их капитала. На этот раз дядя утешился тем, что разорился в отличном обществе: с ним вместе пострадали три доктора богословия, два члена Нижней Палаты, Шотландский Лорд и директор Индийской компании.

Вскоре после того, дядя Джак, веселый и пылкий по-прежнему, вспомнил о сестре своей, мистрис Какстон, и затрудняясь, куда идти обедать, решил искать убежища вод гостеприимной кровлей отца моего. Вам не случалось видеть человека любезнее моего дяди Джака. Люди, несколько плотные, вообще сообщительнее худых. Круглое лицо почти всегда приятно и весело смотрит. Будь дядя Джак главою Римских патриотов, он вероятно не доставил бы Шекспиру предмета для трагедии. Дородство дяди Джака было красиво и в самую пору: он не был толст, ни жирен, ни *yastus*, что, по мнению Цицерона, не прилично оратору.

Все морщины, все неприятная линии скрывались под округлостью его сытого тела; он улыбался так непринужденно, что веселость его невольно сообщалась. С какой простодушной доброю потирал он себе руки! и какие руки! мягкие, пышные, которым нельзя было не отдать кошелька, когда он филантропически обращался к вашему карману! Латинская фраза: *Sedem animae extremis digitis*, относилась прямо к нему. У него было точно сердце на руке!

Критики замечают, что немногие соединяют в равной степени способности воображения и способности рассудка или науки. «Счастлив тот, восклицает Шиллер, кто может согласить огонь энтузиазма с сведениями человека светского!» – И огнем, и сведениями дядя Джек обладал всем с равным обилием; совершенная гармония царствовала в увлекательном его энтузиазме и в убедительных расчетах. Дикеополь в Archanenses, представляя лице, называемое Никархом, говорит зрителям: он мал, сознаюсь, но в нем ничто не потеряно: все, что не глупость в нем, все хитрость и лукавство. – И я могу сказать, что хотя дядя Джек не был великаном, но и в нем ничего не было потеряно. Все, что не было арифметикой, было филантропией. Он пришелся бы по сердцу филантропу Говарду и сопернику Барема Кокеру. Дядя Джек был очень недурен собою: цвет лица его был свежий, румяный, рот небольшой, зубы белые, бакенбард он не носил и тщательно брил бороду: белокурые волосы его поседели и придавали лицу почтенный вид. Г. Скиль нашел, что органы идеализма и строительности развились на лбу его в огромных размерах. Росту он был среднего, именно такого, какой следует иметь деятельному человеку, не велик и не мал. Платье носил он черное, но украшал позолоченными пуговицами, на коих вылит был маленький крестик с короной на верху. В некотором отдалении, эти пуговицы похожи были на придворные пуговицы, и казалось, что дядя Джек принадлежит ко Двору. Галстук у него был белый, не накрахмаленный, жабо приколото бриллиантовой булавкой, которая доставляла ему предмет разговора о Мексиканских рудниках и вечного сожаления, что не удалось их разработать большой национальной компанией Великобритании. Пуত্রу носил он жилет бледно-верблюжьего цвета; ввечеру бархатный вышитый: также предмет разговора и проекта основать общество для улучшения Английских мануфактур. Утренние панталоны были цвета пропускной бумаги; вместо сапог носил они коротенькие Американские штиблеты и тупоносые башмаки. На часовой цепочке висело множество печаток, каждая с девизом какой-нибудь исчезнувшей компании; их можно было сравнить с скальпированными черепами, которыми украшаются Ирокезцы. Скажем мимоходом, что и этот народ не ускользнул от филантропического воображения дяди Джака: он рассчитывал возможность их обращения в Англиканскую веру, с выгодным разменом бобровых кож на библии, водку и порох.

Можно ли удивляться, что я сердечно привязался к дяде Джаку? Он всегда был любимым братом матушки. Она, смеясь, вспоминала, как он заставил ее однажды разыграть в лотерею большую куклу, подарок крестной матери, куклу, которая стоила два фунта стерлингов и которую разыграли в двадцати билетах по шести пенсов каждый, в пользу трубочистов. Какое благодеяние для бедных трубочистов эти 10 шиллингов! восклицал дядя. – Таков был мой дядя Джек; матушка любила его по чувству родства, но дар его пленять сердца подействовал и на отца моего. Живущие в уединении, ученые люди обыкновенно больше других удивляются деятельности практических людей. Симпатия их к подобному собеседнику забавляет в одно время и леность и любопытство. Они могут вместе путешествовать, вместе строить различные проекты, вместе сражаться, вместе проходить все приключения, напечатанные в разных книгах... и все это не сходя с кресел. Отцу казалось, что слушает Улисса, когда он слушал рассказы дяди Джака. Дядя был в Греции, был в Малой Азии; топтал ногами долину, где была некогда Троя; ел финики в Марафоне, гонял зайцев в Пелопонезе и выпил три кружки пива на вершине большой пирамиды.

Дядя Джек был для отца моего справочной книгой, и часто после обеда он занимался разговором с ним, так точно, как бы взял в руки том Павзания или Додвеля. Мне кажется,

что господа ученые, несмотря на то, что взаперти сидят по кельям, составляют, однако, народ любопытный, деятельный, волнующийся, заботливый. Вспомним то, что старый юморист Буртон говорил о себе самом: «Сижу, как монах, отчужденный от бурь и волнений света, но вижу и слышу все в мире происходящее, вижу, как люди бегают пешком и верхом, как мучатся, беспокоятся, заботятся и в городе, и в деревне.» Эта выписка подтверждает мысль мою: только ученые употребляют деятельность свою на свой особенный лад, с Августом предпринимают тайные умыслы, с Кесарем сражаются, едут в Америку с Колумбом, изменяют вид вселенной с Александром, Атиллой или Магометом. Как таинственно должно быть влечение, существующее между верхней частью их человеческой машины и её антиподом, между органом, называемым хранилищем чести, и подушкой кресел! Надеюсь, что это будет удовлетворительно изъяснено успехами месмеризма; что до меня касается, то я думаю, что Провидение наделило эти пылкие головы, воспаляющиеся мозги, естественным перевесом, для того, чтобы не слишком часто возмущался порядок вселенной. Оставляю метафизике и опытной физике разобрать мою догадку.

Я больше всех восхищен был дядей Джаком. Он знал множество фокусов; прятал шарики, заставлял связку ключей плясать по приказу, менял серебряную монету на медный пенс. Между тем пенсы мои никогда не удавалось ему обратить в гинеи.

Мы часто вместе прогуливались, и часто посреди самого занимательного разговора, дядя Джек останавливался, не забывая своей роли наблюдателя. Он осматривал почву земли, набивал мои карманы большими кусками извести, мелу, разными камнями, и после возврата домой, разбирал все это химически посредством аппарата, вверенного ему Г-ном Скилем. Иногда по целым часам стоял он у дверей хижины, восхищаясь девочками, плетущими соломенные шляпы, потом входил в ближние фермы и предлагал фермерам завести общество шляп из национальной соломы. Увы! вся плодovitость изобретательного ума пропадала даром в неблагоприятной земле, куда попал дядя Джек! Ни одному владельцу не мог он внушить желания испытать, богато ли рудами его владение, ни одному фермеру доказать выгоду общества соломенных шляп. И так, подобно баснословному зверю, опустошившему соседнюю страну, и жадным взором осматривающему собственных детей, дядя Джек готовился утолить голод своего воображения, нашествием на собственность бедного отца моего.

Глава IX.

Так как семейство наше не имело никакого желания выказываться, то мы наслаждались в то время, живя, что называется хорошо. Место нашего пребывания возвышалось на краю большой деревни; квадратный из некрашенных кирпичей дом построен был еще в царствование Королевы Анны. Перед домом был балюстрад... для какого употребления? неизвестно. Один наш кот Ральф ходил ежедневно по нем прогуливаться, тем не менее балюстрад украшал дом наш, подобно тем домам, которые построены при Елизавете или даже при Королеве Виктории. Балюстрад разделен был надвое двумя большими колоннами, сверху которых были поставлены большие каменные шары. Дом отличался треугольной архитравой, под которой сделана была впадина, назначенная, вероятно, для какой-нибудь статуи: но статуя была в отсутствии. Внизу впадины было окно матушкиной гостиной, украшенное разными пилястрами. Еще ниже красивая дверь растворялась в сени, в которых было шесть лестниц. Каждое окно было окружено резьбой, и увенчано резными фигурами; нигде не было лишнего убранства, нигде небрежности или недостатка, весь дом отличался прочностью и достатком. Решетка сада примыкала к двум столбам, на которых стояли вазы. Конечно, в дождливый день неприятно было проходить аллеей, ведущую к этой решетке, чтобы оттуда сесть в карету, но у нас не было кареты. Направо от дома за огорожей находился Эрмитаж, маленькая лужайка, четверугольный бассейн, скромная теплица и шесть гряд с розами, гелиотропом, гвоздиками, и пр. и пр. Налево большие шпалеры охраняли плодовитый сад; во всей стороне не было лучше яблок; три извивистые дорожки приводили к стене, обращенной на юг, подле которой каждое лето груши, персики и крупные вишни золотились солнцем, и доставляли нам превкусные плоды. Самая длинная из этих дорожек была любимой прогулкой отца моего. В хорошую погоду он беспрестанно ходил по ней с книгой в руке, останавливался иногда, чтобы карандашом записать что-нибудь, или для того, чтобы громко поговорить с самим собою. Когда его не было в кабинете, то непременно ходил он по этой тропинке. В этих прогулках сопровождал его такой странный товарищ, что мне даже совестно назвать, боюсь, что мне не поверят. Уверяю, однако, что говорю правду и нимало не намерен подражать новейшим романистам. Случилось, что матушка однажды убедила отца моего прогуляться с нею на рынок; проходя через луг, увидели они толпу мальчишек, которые для забавы били камнями утку. Несчастную птицу никто не купил на рынке, потому что она не только была хрома, но страдала сильным несварением желудка, и фермерша, по просьбе детей, отдала им утку для невинной забавы, Матушка сказывала, что никогда не видала мужа так сильно рассерженного и взволнованного. Он разогнал мальчишек, освободил утку, отнес домой, положил в корзинку, лечил ее, кормил и поил до тех пор, пока возвратил ей жизнь и здоровье. Тогда пустил ее в четверугольный бассейн. Между тем утка привязалась к своему благодетелю. Всякий раз, как отец выступал из дверей дома, утка выходила из бассейна, переходила лужайку, и хромя на левую ногу, шла за отцом до персиковой шпалеры; там останавливалась, соображаясь важно с движениями своего господина, иногда следовала за ним шаг за шагом, иногда стояла, но не покидала его до самого возвращения его домой. Тогда приняв из рук его какой-нибудь лакомый гостинец, крылатая наядя проквакивала ему прощальную песнь и возвращалась в любимую свою стихию. Главные комнаты, то есть, кабинет, большая зала, (была другая маленькая зала, называемая матушкиной залой) и парадная гостиная, обращены были окнами на юг. Большие березы, сосны, тополи и несколько дубов окружали строение со всех сторон, выключая южной; таким образом наш дом был равно предохранен от зимних холодов, и от летних жаров. Главная наша услуга, по чину и по достоинству, была мистрис Примминс, которая соединяла в себе экономку, ключницу, няню и тирана всего хозяйства. Под её ведением находились еще две женщины и лакей. Пахотные земли, принадлежавшие отцу моему, отданы были за условную сумму фермерам

и не занимали его своей обработкой; главный доход его состоял в процентах, получаемых с 15,000 фун. стерлингов, помещенных в банк; и этого дохода было достаточно на все домашние издержки, на удовлетворение страсти отца моего к старым книгам, на плату за мое воспитание и на обеды, на которые приглашались несколько раз в год все наши соседи. Матушка с гордостью говорила, что к нам собирается избранное общество. Оно состояло из пастора и семейства его, из двух чванных старых девушек, из принятого члена Индийской компании, жившего в белом домике на самом верху горы, из виги или шести небогатых дворян с их супругами, и из доктора Скиля, все еще не женатого. Раз в год обменивались визитами или обедами с некоторыми аристократами, внушавшими матушке удивительное почтение. Их визитные карточки всегда были заткнуты за зеркало большой гостиной. По всему этому можно видеть, что мы жили в довольстве и пользовались уважением, следующим людям честным по себе и по происхождению... Но не стану рассказывать нашей генеалогии; удовольствуюсь только тем, что самые гордые наши соседи говорили о нас, как о самой древней фамилии во всем округе; отец мой чванился только одним из своих предков: Вильямом Какстоном, мещанином и типографщиком в царствование Эдуарда IV. *Clarum et venerabile nomen!!!* достойный предок ученого писателя!

– *Heus!* вскричал однажды отец, прерывая чтение разговоров Эразма, *salve, multum jusundissime.*

Классическое это приветствие обращалось к дяде Джаку, который, не бывши ученым, столько знал по-латыни, что мог отвечать:

– *Salve tantumdem, mi frater.*

Отец улыбнулся.

– Вижу, сказал он, что ты понимаешь истинную цивилизацию, или вежливость, как выражаются новейшие. Очень вежливо называть братом мужа сестры твоей. Эразм похвалит такое приветствие в начале главы: *Salutandi formulae*; и подлинно, продолжал отец с задумчивым своим видом, мало разницы между вежливостью и дружелюбием. Эразм замечает, что кланяться при появлении некоторых малых недугов нашей человеческой природы, очень учтиво; следует кланяться, когда кто зевает, чихает, икает, кашляет; этим выражается участие, которое принимаем в здоровье; можно вывихнуть челюсть, зевая, повредить жилу в голове, чихая; икота есть часто признак опасной болезни, а кашель болезнь легких, или горла, или мокротного сложения.

– Правда, отвечал дядя Джак; Турки всегда кланяются тому, кто чихает, а Турки, известно, учтивый народ. Между тем, брат, я рассматривал теперь твои прекрасные яблони. Редко бывают деревья красивее, а я знаток в деревьях. Сестра сказывала мне, что вы не получаете с них никакого дохода, это жалко! Можно бы завести в этом графстве производство сидра. Возьми на себя обработку земель твоих; если их мало, можно принанять, чтобы вышло всего сто акр. Тогда насадить надобно деревьев на всем пространстве. Я сделал уж весь расчет, чудесно выходит! Сорок деревьев не больше на акр, по одному шиллингу, шести пенсов за дерево. Четыре тысячи деревьев на сто акр составят 500 ф. стер. – Посадить, окопать и обработать, кладу 10 ф. стер. на акр, это составит тысячу на сто. Вымостим ямы около деревьев для того, чтобы сок не терялся в землю... О, я не хочу упустить из виду ни малейшей мелочи! – Вымостим мелким камнем и бутом, по 6 пенсов, каждую яму. За четыре тысячи деревьев, или за 100 акр, это выйдет 100 ф. стер. Прибавим к этому счету то, что ежегодно получаешь ты с земли, 50 шиллингов за акр, полтора ф. стер. за все, следовательно, общий итог составит...

Дядя Джак по пальцам пересчитывал все итоги:

Деревья – 500 фун. стерлин.

Работники – 1000

Вымостить ямы – 100

За землю – 150

всего – 1,550 фун. стерлин.

Вот весь расход. Теперь сосчитаем доход. В Кентском графстве, плодовые сады приносят 100 ф. с. с акра, иногда даже полтора; будем умеренны и положим только 50 с акра, след. прибыль чистая на 1550 ф. капитала, будет 5000 ф. ежегодно. 5000 ф. стер.! Подумай-ка об этом, брат Какстон! Вычти 10 процентов или 500 ф. с. ежегодно на удобрение, на жалование садовнику и пр., все-таки доход остается 4,500 ф. Ты разбогатеешь, друг мой, просто разбогатеешь, и я от всего сердца тебя поздравляю.

– В самом деле, батюшка! сказал юный Пизистрат, ни проронивший ни слова из этого восхитительного расчета. Мы были бы также богаты, как эсквайр Роллик! – и тогда, не правда ли? тогда можно бы держать гончих собак?

– И сверх того можно бы скупить огромную библиотеку, прибавил дядя Джак, употребляя свое знание человеческого сердца в пользу роли своей искусителя. Скоро будут продаваться книги приятеля моего, архиепископа.

Отец глубоко вздохнул, взглядывая попеременно то на меня, то на дядю, потом положил левую руку мне на голову, а правой указывая на Эразма, сказал с упреком дяде:

– Посмотри, как тебе легко возжечь алчность в молодой голове! Ах, братец!

– Ты слишком строг, брат! Посмотри, как он опустил голову! фи, этот энтузиазм приличен его летам, это веселая надежда, оживленная воображением. Ты не должен упускать случая приобрести богатство, для этого же, милого нам, юноши, Тебе, сверх этого, нужно еще сделать рассадник яблочный. Каждый год надобно сеять, и прививать, и умножать плантацию, наймом, или даже покупкой нескольких акров земли. Да и почему же не покупкой? Таким образом, дорогой брат, через двадцать лет половина графства будет насажена твоими яблонями. Ограничимся, однако, двумя тысячами акр. Ну, и тогда получим чистой прибыли 96,000 фун. стер. ежегодно. Это герцогский доход!.. Доход герцога! стоит только захотеть!

– Погодите, сказал я, стараясь показать умеренность, ведь деревья не вдруг растут. Я помню, когда посадили последние яблони, этому будет уже пять лет; и тогда им было по три года, а только прошлую осень собрали с них яблоки.

– Экой умный и понятливый молодец! Ну, брат, голова у него не тупая, он будет уметь с честью употребить огромное свое богатство, сказал дядя Джак с довольным видом. Ты прав, племянник, но куда мы можем насадить смородины, или капусты, луку, как делают в графстве Кентском. Между тем, так как мы не очень богатые капиталисты, то вероятно, должны будем уступить часть барышей, для удовлетворения нужного расхода. Слушай, Пизистрат! (посмотри на него, брат! с этой простодушной миной, кажется, будто родился он с золотом во рту, как говорит пословица) слушай же все великие таинства спекуляции. Отец твой, ни слова не говоря, купит как можно скорее, землю, и тогда, presto! Мы напишем программу и оснуем компанию. Компании ждут пять лет своего дивиденда, между тем цена акций прибавляется ежегодно. Положим, что отец твой возьмет пятьдесят акции по 60 ф. с. каждую; тридцать пять из них продаст он по сту на сто, оставит у себя прочие пятнадцать, и – также этим способом разбогатеет, не столько, однако, сколько мог бы, удержавши все в своих руках. Ну! что скажешь, брат Какстон? *Visne! edere potum!* Не хочешь ли яблочка? как говорили мы в школе.

– Мне не нужно ни шиллинга больше теперешнего моего состояния, отвечал решительно отец мой. Жена лучше любить меня не станет; обед больше не накормит, а сын может изнежиться и залениться...

– Послушай, перервал дядя Джак, который не легко сдавался, и берег сильнейший довод для последнего поражения: ты не подумал о пользе ближнего, о выгоде, которую доставит улучшение всей почвы природным произрастаниям этой округи, о здоровом питье сидра, доступном через это трудящемуся и бедному классу людей. Я не стал бы предлагать тебе этих хлопот, если б думал только об твоём богатстве. В моем ли это обычае? Я забочусь о выгоде общей,

о человечестве, о ваших ближних! Эх, брат, Англия не была бы так могуча, если бы люди, подобные тебе, не занимались филантропией, спекуляциями!

– Пе-пе! вскричал отец, благоденствие Англии поколеблется, если Роберт Какстон не будет торговать яблоками! Милый Джак, ты напоминаешь мне разговор, который я прочел вот в этой книге... Подожди немного, найду его; вот он: Памфагус и Коклес.

«Коклес узнал друга своего по замечательному, длинному его носу.

«Памфагус с досадой сказал, что он своего носа не стыдится.

– Стыдиться! на что стыдиться, сказал Коклес. Я мало видел носов, годных на большую потребу.

– Ах, сказал с любопытством Памфагус, на потребу? на какую же потребу?

– Тогда, *lepidissinie frater*, Коклес, точно также быстро и также красноречиво, как ты, вычислил все способы извлечь пользу из такого огромного развития носового органа. Если погреб набит винами, нос подобно хоботу слона может обнюхать погреб; если пропадет мех, носом можно раздуть огонь; если лампа горит слишком ярко, нос может служить зонтиком; трубочку может быть трубою; барабаном полковому музыканту; молотком столяру; лопатой садовнику; якорем кораблю, и пр. и пр. до тех пор, пока Памфагус вскричал:

– Счастливей я смертный! до сих пор я и не знал, какую драгоценность ношу по середине лица?

Отец остановился, хотел свиснуть, но вместо того засмеялся и прибавил:

– Оставь в покое мои яблоки, брат Джак, пусть доставляют они нам по-прежнему торты и пирожные; это естественное их назначение.

Дядя Джак на минуту смутился, потом захохотал и признался, что не нашел еще слабой стороны в характере отца моего.

Признаюсь, и я, что почтенный мой родитель еще больше вырос в моем мнении, после этого разговора: я увидел, что ученый человек может быть рассудителен. Действительно, посещение дяди Джака оживило несколько обленившийся его характер. Сам я стал входить в лета и созревать умом, и потому с этих вакаций началось между отцом и мною, дружеское сближение. Часто отказывался я от дальних путешествий с дядей Джаком; от какой-нибудь игры в ближней деревне, или от рыбной ловли в прудах эсквайра Роддика, чтобы медленно ходить подле отца вдоль шпалер, иногда молча и мечтая о будущем, в то время, как он мечтал о прошедшем; между тем всегда вполне вознагражден был, когда, прерывая чтение, он отверзал мне сокровища многообразной своей учености, расцветивая ее странными своими комментариями и сократической, живой, насмешливой сатирой. Иногда, растроганный каким-нибудь геройским подвигом, прочтенным в древнем авторе, он становился красноречивым, согнутый стан его выпрямлялся, молния зажигалась во взорах, и ясно было видно, что Провидение не назначало его исчезать в неизвестном уголке, где вел он тихую и невинную жизнь свою.

Глава X.

– Так, сударь, истинно так! Графство наше к черту идет! мнения наши не находят представителей ни в Парламенте, ни вне Парламента. Меркурий здешний стал враждебным журналом, будь он проклят! а кроме его нет ни одного журнала для выражения мыслей почтенного сословия.

Эта речь произнесена была за столом, во время одного из редких обедов, данных семейством Какстон всему знатному соседству, а оратор был сам эсквайр Роллик, президент третних заседаний графства.

Мне в первый раз позволено было не только сидеть за столом с гостями, но и оставаться подле дам, уважая лета мои и обещание не наливать себе ни одной рюмки вина, и признаюсь, что в невинности своей, я никак не отгадал, какое внезапное участие заставило дядю Джака поднять голову при слове: *журнал*. Подобный коню при звуке военной трубы, он храбро перескочил все расстояние, отделявшее его от эсквайра Роддика. Но с какой целью? Это не легко было постигнуть школьнику моих лет. Семгу не поймает на крючок, согнутый для мелкой рыбы.

– Ни одного журнала, продолжал эсквайр Роллик.

Прежде этого восклицания дядя Джак, нагнувшись ко мне, спросил на ухо:

– Какой он политической партии?

– Не знаю! отвечал я.

Дядя Джак, по привычке, прицепился к той фразе, которую память подсказывала ему чаще других, и протяжно сказал:

– Для защиты прав наших несчастных ближних!

Отец мой потер себе лоб указательным пальцем, обычный жест его, когда занят каким-нибудь сомнением. Прочие собеседники поглядели друг на друга и замолчали.

– Несчастные ближние? воскликнул презрительно Роллик. Наши *несчастные* ближние!

Дядя Джак не удачно попал. Желая несколько поправиться:

– Я хочу сказать: почтенные наши ближние! сказал он.

Тут пришло ему на ум, что журнал, в графстве издаваемый, непременно должен быть земледельческий журнал, и как Эс. Роллик проклинал Меркурия, то вероятно сам был в числе тех политиков, которые называли *вампиром* земледельческую выгоду. Одушевляясь такою догадкой, дядя Джак, в надежде поправиться, развернул все красноречие свое в выходках, подобных тем, какие мы слышали в Ковен-Гардне и в торговой зале Манчестра.

– Да, почтенные наши ближние, эти люди, которые приносят отечеству двойную дань – капитала и промышленности! Можно ли сравнить мелких землевладельцев с нашими богатыми купцами? И что это за земледельческая выгода, которая воображает себя подпорой Англии?

– Воображает? вскричал Эс. Роллик. Она не воображая, она истинная опора отечества! Что же касается до этих фабрикантов, которые купили Меркурий...

– Которые купили Меркурий, негодяи! перервал с жаром дядя Джак, совершенно постигнув теперь, с кем имеет дело. Поверьте, сударь, они верно принадлежат к дьявольскому заговору капиталистов, который смело надобно разрушить. Да, я повторяю, что это за земледельческая выгода, которую они стремятся разорить, подорвать, которую называют *вампиром*, они! настоящие кровопийцы, эти ядовитые *машинократы*! Наши ближние! Могу, сударь, назвать несчастными ближними, членов этого страждущего сословия, которое вы также украшаете собою. Кто привлекает нашу симпатию, наше желание помочь, как не джентльмен, владелец, обязанный при 6000 ф. стер. доходу, содержать дом, собачью охоту, кормить народ сбором для бедных, поддерживать церковь десятинной платой, содержать суды, тюрьмы, платить

налоги, для должностных людей и для дорог?.. и все это обязал он исполнять, хотя истощен процентами за занятые деньги, истощен ростовщиками-жидами, приданым сестер или законной частью меньших братьев, разработкой лесов своих, удобрением образцовой своей фермы, откармливанием скота, своего, и пр.! – Не говорю уже о тяжбах, необходимых для охранения прав своих, о разбойниках, отовсюду его окружающих, охотниках по полям его и лесам, ворах бараньих, собачьих, лошадиных, о садовниках, о ловчих, и о первом из всех необходимом воре, о приказчике! Если существует на свете человек, которого по праву назвать можно несчастным нашим ближним, то это конечно провинциальный обладатель большего владения.

Отец мой слушал как будто пародию на прежние увещания и удерживал с трудом непритворный смех. Эсквайр Роллик многими одобрительными восклицаниями соглашался на речь дяди, особливо при исчислении сбора для бедных, десятинной платы, на несколько должностей, и собачьих воров. Он передал бутылку дяде Джаку и учтиво заметил:

– Во многом вы правы, Г-н Тиббет: земледелие разорвется, и когда оно уничтожится, то я *этого* не дам за древнюю нашу Англию (при слове *этого*, Г. Роллик щелкнул пальцами). – Но что же нам делать? Что можем мы делать, для нашей провинции? вот тут-то и затруднение.

– Об этом именно я и хотел говорить, прервал дядя Джак. Вы сказали, что в графстве нет ни одного журнала, который поддерживал бы права ваши и обличал врагов?

– Нет! потому что Виги купили Меркурий...

– Как же можете вы ожидать, чтоб вам отдали должную справедливость, когда вы пренебрегаете печатанием? – Печатание, Г-н Роллик, это воздух, которым дышим. Пособить вам может большой лист народной газеты. Нет, не народной, – провинциальной, еженедельной, которую щедро содержать и поддерживать должна могущественная партия, готовая уничтожиться. Без такой газеты, вы все погибли, уничтожены, мертвы, зарыты живые! С этой газетой, составляемой и издаваемой человеком светским, главным редактором, получившим хорошее образование, практически знающим и земледелие, и сердце человеческое, рудники, запашки, страхования, парламентские акты, выставку скотины, состояние различных партий и драгоценную выгоду общественного порядка, – вы победите и восторжествуете. Журнал должен составить по подписке, соединением, содействием всех обиженных, обществом провинциальным, благотворительным, земледельческим и против нововведений учрежденным.

– Вы правы, клянусь! вскричал эсквайр Роллик, хлопая себя по ноге. Завтра поутру поеду к нашему Лорду-Наместнику. Старшего сына его будем выбирать на следующих выборах.

– И он выбран будет, если поддержите печатание, если оснуете журнал, сказал дядя Джак, потирая руки и складывая все десять пальцев, как будто собирает уже невинные гиней будущей компании.

Всякое счастье находится больше в надежде, чем в обладании. Готов биться об заклад, что-то удовольствие, которое развевалось по сердцу дяди Джака, и отсвечивалось на лице его, при пророческом появлении богини фортуны в вид новой спекуляции, гораздо сильнее, нежели действительное обладание кошельком царя Креза.

– Мне казалось, что дядя Джак не был тори, сказал я на другой день отцу.

Отец, не занимавшийся совсем политикой, вытаращил на меня глаза.

– Вы, батюшка, виг или тори?

– Гм! об этих двух сторонах вопроса можно многое сказать. Посмотри на мистрис Приминс: ты знаешь, что у нее есть несколько различных штемпелей для наших масляных кругов: они выходят из её форм, то с отпечатком короны, то с изображением коровы. Предоставим артистам, выливающим формы, выказывать дарования своего воображения. Мы будем мазать масло на хлеб, благодарить за него Бога и молиться о ниспослании благословения на всю молочню. Понимаешь?

– Ни одного слова не понимаю, батюшка!

– Следовательно, твой ономим, Пизистрат был умнее тебя. Однако, пора кормить утку...
Где дядя?

– Он взял лошадь у Г. Скиля и поехал с Г. Ролликом к тому Лорду, о котором вчера говорили.

– О-го! сказал отец, брат Джак отправился за штемпелем на свой кружок масла.

Действительно, дядя Джак так хорошо играл роль свою, и при Лорде Наместнике графства, такую дивную написал программу, вывел такие верные счета, что мои вакансии еще не кончились, а он помещен уже был в городе, в прекрасном доме, где внизу была контора для журнала, а наверху его особенные комнаты; получал 300 ф. с. жалованья в качестве директора новой еженедельной газеты, названной: «Враг нововведений и орган земледельческих выгод графства.» Эта газета основана была для защиты прав несчастных ближних, благородных джентльменов и эсквайров, землевладельцев и фермеров, равно как и подписчиков. На заглавном листке дядя Джак напечатал корону, поддерживаемую цепом и пастушьим посохом, с девизом: *pro rege et grege*. Таким образом дядя Джак нашел штемпель своему маслу.

Глава XI.

Когда я возвратился в пансион, то мне показалось, что я уже не ребенок! Дядя Джак, из собственного кармана, купил мне первую пару сапог, à la Wellington! Матушка сдалась на ласки мои, и позволила носить фрак, вместо прежней куртки. Воротник рубашки лежал прежде на шее моей, как уши легавой собаки, теперь поднимался высоко, как уши собаки борзой, и окружался черным ошейником. Мне было около семнадцати лет, и я почитал себя взрослым мужчиной. Замечу мимоходом, что почти всегда мы быстрым прыжком перескакиваем из мальчика Систи в юношу Пизистрата Какстон, и старшие наши без всякого сопротивления соглашаются дать вам желанное название молодого человека. Мы не замечаем постепенного хода превращения, помним только знаменитую эпоху, в которую все признаки явились вдруг: Веллингтоновские сапоги, фрак, галстук, усики на верхней губе, мысль о бритве, мечтания о молодых девушках и новое чувство поэзии. Тогда я начал читать внимательно, понимать то, что читаю, начал с беспокойством смотреть на будущее, и смутно чувствовать, что мне предстоит занять место между людьми, и что оно зависит от постоянного труда и терпения. Я был уже первым учеником в нашем классе, когда получил два следующие письма:

I. От Роберта Какстона Эск.

«Любезный сын!

Я уведомил доктора Германа, что после вакаций ты к нему не возвратишься. В твои лета пора перейти в объятия возлюбленного нашего университета, Alma Mater, и надеюсь, что ты получишь почести, которыми он удостоивает отличных сыновей своих. Ты уже стоишь в списке Троицкой коллегии в Кембридже, и мне кажется, будто в тебе снова расцветает моя молодость: вижу, как будешь ты бродить по благородным садам, орошенным извивистым Камом, и глядя на тебя, вспоминаю мечты, летавшие над моей головой, когда гармонические звуки башенных часов повторялась на тихом кристалле вод. – Verum, secretum que Mouseion, quare mul ta dictat is, quam multa inuenitis! – Там, в этой славной коллегии, тебе придется бороться с юными богатырями. Ты увидишь тех, которые в сане церковном, государственном, гражданском, или в глубоком уединении науки, назначены Провидением быть светильниками твоего века. Тебе не запрещено состязаться с ними. Тот, кто в юных летах может пренебрегать забавами и любить труд, тот имеет перед собою обширное и благородное поприще славы.

Дядя Джак радуется своим журналом, а эсквайр Роллик ворчит и уверяет, что журнал наполнен теориями, непостижимыми для фермеров. Дядя Джак с своей стороны утверждает, что создает свою публику, для того чтобы иметь достойных читателей, и вздыхая, жалуется, что гений его тускнеет в провинции. Действительно, он искусный и сведущий человек, и мог бы успешно действовать в Лондоне. Он часто у нас бывает и ночует, а на другое утро возвращается в свою контору. Чудесная его деятельность заразительна. Поверишь ли, что ему удалось возжечь пламень моего тщеславия? То есть, говоря без метафор, я собираю все мои замечания и размышления, и не без удивления вижу, что возможно привести их в порядок, и методически расположить по главам и по книгам. Не могу удержаться от улыбки, воображая, что становлюсь автором, но смеюсь еще больше,

когда думаю, что такое дерзкое честолюбие внушено мне дядей Джаком. Между тем, я прочел несколько отрывков твоей матери, и она похвалила; это ободряет меня. Твоя мать очень, очень разумна, хотя не учена, а это тем более странно, что многие ученые не стоили пальца отца её. Однако ж, этот почтенный, славный учитель умер, ничего не напечатав, а я... истинно не понимаю своей дерзости!

Прости, сын мой! пользуйся временем, остающимся тебе в филелленическом институте. Голова, наполненная мудростью, есть истинный пантеизм, *plena lovis*. Порок всегда помещается в той частичке мозга, которая оставлена пустою. Если, паче чаяния, этот господин вздумает постучаться у дверей твоих, постарайся, милый сын, иметь возможность сказать ему: места нет для вашего высокородия, идите прочь.

Твой любящий тебя отец
Р. Какстон».

II. От Мистрис Какстон.

«Дорогой мой Систи!

Скоро возвратишься ты домой; сердце мое так полно этой мыслью, что я ничего другого и писать не могу.

Милое дитя мое, возвратись к нам! Нас не будут разделять посторонние люди и школы: ты будешь совсем наш, опять милое дитя наше, будешь опять принадлежать мне, как принадлежал в колыбели, в твоей детской комнате и в саду, где мы с тобою, Систи, перебрасывались цветочками. Ты посмеешься надо мною; когда расскажу тебе, что услышавши от отца твоего, что ты совсем к нам возвращаешься, я тихонько ушла из гостиной и вошла в комнату, где хранятся все мои сокровища, ты знаешь! Там, отодвинувши ящик, нашла твой чепчик, который сама вышила, маленькую твою нанковую курточку, и многие другие драгоценности, напоминающие то время, когда ты был мой маленький Систи, а я твоя маманька, вместо этой торжественной, холодной матушки, как зовешь меня теперь. Все эти вещи я перецеловала, Систи, и сказала им: мой малютка возвращается. Мне казалось даже, что я опять буду носить тебя на руках, опять учить говорить: здравствуй, папа! – Я сама смеюсь над собою, а иногда утираю слезы. Ты не можешь уже быть прежним моим дитятей, но ты все равно, мой дорогой, мой любимый сын, сын отца твоего, лучшее мое сокровище, выключая только этого отца.

Я так счастлива в ожидании тебя! Возвратись, пока отец твой радуется своей книгой. Ты можешь ободрить его; книгу эту надобно издать. Почему же и ему не быть славным, известным? Почему свет не будет ему удивляться, как удивляемся мы? Ты знаешь, что я всегда им гордилась, пусть узнают, что не по-пустому. Однако же, ученость ли его привлекла мою любовь, мое почтение? Нет, не ученость, а его доброе, благородное сердце. В этой книге, однако ж, вместе с ученостью поместилось и сердце; она наполнена таинствами мне непонятными, но посреди этих таинств, являются вдруг места, мне доступные и отвечающие его прекрасным сердцем.

Дядя твой взял на себя издание, и как скоро первый том будет кончен, отец выедет с дядей в город.

Все домашние наши здоровы, кроме бедной Сарры, у которой лихорадка. Примминс надела ей ладанку на шею и уверяет, что ей лучше стало. Быть может, хотя я не понимаю от чего. Отец твой говорит: – Почему и не вылечить талисманом? всякое средство вероятно удастся с желанием успеха: чем удастся магнетизм, как не желанием и волей?

Я не умею этого изъяснить; но тут есть тайный смысл, вероятно, глубокий.

Еще три недели до вакаций, Систи, а там, прощай школа. Комната твоя будет выкрашена и убрана. Завтра жду работников. Утка жива и, кажется, меньше хромает.

Да благословит тебя Господь, милый сын!

Счастливая мать твоя

К. Какстон.»

Время, которое прошло между этими письмами и утром возвращения в родительской дом, показалось мне опять тем длинным, беспокойным днем, который проводил я в болезни. Машинально исполнял я ежедневные уроки. Ода на Греческом языке выразила мое прощание с институтом. Доктор Герман объявил, что эта ода произведение мастерское. Я послал ее к отцу, который, чтобы охладить гордость торжества моего, отвечал мне неправильным Английским языком, передразнивая на отечественном языке все мои Греческие варваризмы. Я проглотил эту пилюлю, и утешился мыслью, что употребив шесть лет на приобретение науки неправильно писать по-Гречески, вероятно не найду больше случая, блеснуть таким драгоценным приобретением.

Наконец настал последний день. С восторженной какой-то печалью обошел я все знакомые мне углы дома, разбойничью пещеру, которую мы выкопали зимою, и защищали шестеро, против всей армии нашего маленького царства; забор, с которым происходило мое первое сражение; столетнюю березу, под которой читал письма отца и матери.

Перочинным ножичком вырезал я крупными буквами имя свое на моем налое. Пришла ночь, колокол пригласил нас ко сну, и мы разошлись по комнатам. Я открыл окно, на небе блистали все звезды; не мог я узнать свою, ту звезду, которая должна осветить поприще славы и счастья, предстоящее перед юношей, вступающим в свет. Надежда и честолюбие волновали мне душу, но за ними стояла скорбь. Читатель, ты вспомни сам все мысли, полные печали и восторга, все невольные сожаления о прошедшем, все неясно радостные стремления к будущему, которые каждого из вас творили поэтом в последнюю ночь пребывания вашего в школе.

Часть вторая

Глава I

Почтовая карета остановилась у ворот дома отца моего; я вышел. Прекрасный летний день клонился к вечеру. Мистрис Примминс выбежала ко мне на встречу и, с изъявлениями горячей дружбы, пожала мне руку. Следом за ней, заключила меня в свои объятия матушка.

Как скоро нежная моя родительница убедилась, что я не умираю с голоду и, 2 часа тому назад, пообедал у доктора Германа, то тихонько, через сад, повела меня в беседку.

– Отец теперь так весел! – сказала она, утирая слезу; к нему приехал его брат.

Я остановился. Его брат! Поверит ли читатель? я никогда не слыхивал, чтоб у моего отца был брат: так редко говорили при мне о семейных делах.

– Его брат? спросил я. У меня есть дядя Какстон, как дядя Джак?

– Да, душа моя, отвечала матушка, и прибавила: – они прежде не очень были дружны; капитан жил все за морем. Теперь, слава Богу, они совсем помирились.

Она не успела сказать ничего больше: мы подходили к беседке. На столе стояли плоды и вина. Джентльмены сидели за десертом; собеседники эти были: мой отец, дядя Джак, мистер Скиль и высокий, худощавый мужчина, застегнутый на все пуговицы, прямой, вытянутый, воинственный, важный, величественный, достойный, одним словом, занять место в рыцарской книге моего славного предка.

Когда я вошел, все встали; но бедный отец мой, медленный в своих движениях, приветствовал меня уже после всех других. Дядя Джак напечатал мне на пальцах сильный след своего перстня с печатью; мистер Скиль потрепал меня по плечу, и заметил: «удивительно вырос!» Новый дядя с важностью сказал мне: «вашу руку, сэр, я капитан де-Какстон!» Даже домашняя утка высунула голову из-под крыла и (это приветствие она делала всем) потеряла ее около ноги моей, прежде чем отец, положи мне на голову бледную свою руку и несколько минут вглядываясь в меня, с неописанной нежностью, сказал:

– Все больше и больше похож на мать, – Господь с ним!

Мне оставили стул между отцом и его братом. Я поспешно сел, раскрасневшись и задыхаясь, потому что непривычная ласка отца поразила меня несказанно: к тому же я сознал впервые мое новое положение, Я возвращался под кров родительский, не школьником, для отдыха и развлечения, а его надеждой. Я мог наконец пользоваться правом быть утешителем и помощником дорогих родителей, доселе безвозмездно окружавших меня попечениями и благодеяниями. – Станный это перелом в жизни, когда мы *взаправду*, *совсем* возвращаемся домой. Все около нас в доме принимает тогда новый вид. Прежде, мы были гостем, балованным ребенком, которого забавляют, ласкают, веселят в то короткое время, которое он проводит дома. Но, когда возвращаешься домой навсегда, совсем уже кончивши школьное учение и отжив школьные года, тогда перестаешь считать себя гостем, разделяешь жизнь домашнюю, со всеми её обязанностями; принимаешь долю от всех скук, всех должностей и всех тайн домашнего круга... Не так ли? Мне хотелось закрыть лицо руками, и заплакать!

Отец, при всей своей рассеянности и простодушии, неизменно-прозорливо читал в глубине сердец. В моем сердце разбирал он все, также легко, как в Греческой книге. Он тихонько обнял мой стан рукой и шепнул мне на ухо: – будь тверд! Молчи! Потом громко сказал дяде:

– Брат Роланд! Нельзя оставить дядю Джака без ответа.

– Брат Остин, отвечал, важно, капитан, – мистер Джак, если смею назвать его этим именем...

– О, конечно, смеете! – возразил дядя Джак.

– За честь почитаю такую короткость, – отвечал капитан, с поклоном. Я хотел сказать, что мистер Джак отступил с поля битвы.

– Совсем нет! – воскликнул мистер Скиль, всыпая шипучий порошок в химическую микстуру, тщательно составленную из старого хереса и лимонного сока. – Совсем нет! Мистер Тиббетс, у которого орган противоречия значительно развит, говорил, между прочим...

– Я говорил, – сказал дядя Джак, – что стыд и срам девятнадцатому веку, когда человек, подобный моему другу, капитану Какстон...

– Де-Какстон, сэра, мистер Джак.

– Де-Какстон, – с отличными воинскими способностями, знатного происхождения, герой, внук и потомок героев, служивший двадцать три года в королевских войсках, отставлен капитаном. Это происходит, сказал я, от системы покупных чинов, обратившей в обычай продажи самых благородных почестей, как некогда в Римской империи.

Отец поднял голову, но дядя Джак продолжал, не допустив его выговорить и первое слово задуманного возражения.

– Системы, которой можно положить конец: для этого нужно небольшое усилие, – только общее согласие. Да, сэра! При этом дядя Джак так ударил по столу, что две вишни подскочили с тарелки и задели по носу капитана. – Я смело скажу, что могу всю армию преобразовать и поставить на другую ногу. Если бы самые бедные и самые достойные Офицеры захотели соединиться в дружное общество и каждый стал вносить по третям хоть небольшую сумму, мы составили бы капитал, которым не трудно бы было понемногу подорвать недостойных повышения. Каждый способный и заслуженный человек имел бы тогда все средства к повышению.

– Действительно, это великая мысль, – сказал мистер Скиль. – Что вы об этом думаете, капитан?

– Совсем не великая, сэра, – сказал очень серьезно капитан. В монархическом правлении мы признаем единственный источник почестей. Таким обществом можно уничтожить первую обязанность воина – уважение к своему Государю.

– Честь, – продолжал капитан, воспламеняясь, – честь – награда воину. Какая мне нужда, что молодой неуч, купив себе чин полковника, сядет мне на голову? Он не купит ни моих ран, ни моей службы. Он не купит, сэра, моей медали, данной мне за Ватерлоо. Его называют полковником... потому что он купил этот титул... Прекрасно! ему это нравится, но мне это нравится бы не могло; по-моему, лучше оставаться капитаном и гордиться не титулом, а двадцатью тремя годами службы. – Общество купило бы мне полк! Не хочу быть неучливым, иначе, сказал бы просто: чтобы их черт взял... Вот мое мнение, мистер Джак!

Безмолвное волнение пробежало по всем собеседникам, даже дядя Джак казался очень тронут, пристально взглянул на старого солдата и не сказал ни слова. Мистер Скиль прервал общую тишину:

– Мне хотелось бы видеть вашу Ватерлоовскую медаль; с вами она, капитан?

– Мистер Скиль, отвечал капитан, – пока я жив, она останется на моем сердце. Когда умру, с нею положат меня в гроб, с ней я встану по первой команде, на общей переключке, в день воскресения мертвых!

Говоря это, капитан расстегивал сюртук, и, сняв с полосатой ленточки самый ужасный образец ювелирного искусства, каким когда-либо награждали заслугу в ущерб изящному вкусу, положил медаль на стол.

При совершенном безмолвии, она стала переходить из рук в руки.

– Нельзя не подивиться этому... – сказал, наконец, батюшка.

– Тут нет ничего странного, брат, – сказал капитан. – Это очень просто, для человека, понимающего правила чести.

– Может статься, – отвечал кротко отец; – мне хотелось бы послушать то, что вы можете сказать нам о чести. Я уверен, что это для всех нас будет назидательно.

Глава II.

Речь дяди Роланда о чести.

– Милостивые государи! – сказал капитан, обращаясь ко всем слушателям, и отвечая на сделанный ему вызов, – милостивые государи! Бог создал землю, человек насадил сад. Бог создал человека, а человек возделал себя сам.

– Да, конечно, наукой, – сказал мой отец.

– Промышленностью – сказал Джак.

– Физическими свойствами тела, – сказал мистер Скиль. Человек не мог бы усовершенствоваться и остался бы диким, в лесах и пустынях, если б создан был с жабрами, как рыба, или не умел говорить, подобно обезьяне! Руки и язык даны ему, как орудие прогресса.

– Мистер Скиль – сказал отец, качая головою, – Анаксагор сказал прежде вас то же о руках человеческих.

– Что ж! с этим делать нечего – отвечал Скиль, – пришлось бы целый век молчать, если б говорить только то, что никем еще не было сказано. Однако превосходство наше заключается не столько в руках, сколько в ширине больших пальцев.

– Альбинус *de scelelo*, и наш ученый, Вильям Адуренс заметил то же – сказал отец.

– Тьфу пропасть! – воскликнул мистер Скиль, – какая вам надобность все знать!

– Не все! но большие пальцы доставляют предмет разыскания самому простому понятию, скромно отвечал отец.

– Милостивые государи, – начал опять дядя Роланд, – руки и большие пальцы даны Эскимосцам, также как ученым медикам, но Эскимосцы от этого не умнее. Нет, господа, со всею вашей ученостью, вы не можете довести нас до состояния машины. Глядите внутрь себя. Человек, повторяю, воссоздает себя сам. Каким образом? Началом *чести*. Первое желание его состоит в том, чтобы превзойти другого человека, первое стремление его – отличиться от других. Привидение снабдило душу невидимым компасом, магнитной стрелкой, всегда указывающей на одну точку, т. е. на честь, – на то, что окружающие человека считают честнее и славнее всего. Человек, от начала, был подвержен всяким опасностям: и от диких зверей, и от людей, подобно ему, диких, следовательно, *храбрость* сделалась первым качеством, достойным уважения и отличия; поэтому дикие храбры, поэтому дикие и добиваются похвалы, поэтому же они украшают себя шкурами побежденных зверей и волосами убитых врагов. Не говорите, что они смешны и отвратительны; нет, это знаки славы. Они доказывают, что дикий уже избавился от первого, грубого, закоснелого себялюбия, что ценит похвалу, а люди хвалят только то, что охраняет их безопасность или улучшает быт. В последствии дикие догадались, что нельзя жить безопасно друг с другом, не условясь в том, чтобы не обманывать друг друга, и *правда* сделалась достойна уважения, стала первым правилом чести. Брат Остин может сказать нам, что во времена древние правда была всегда принадлежностью героя.

– Действительно, – сказал отец, – Гомер с восторгом придает ее Ахиллесу.

– От правды родится необходимость в некотором роде справедливости и закона. Уважая храбрость воина и правду в каждом человеке, люди начинают воздавать честь старикам, избранным для хранения справедливого суда между ними. Таким образом устанавливается закон.

– Да ведь первые-то законодатели были жрецы, – сказал отец.

– Я к этому приду, милостивые государи, продолжал дядя. – Откуда желание чести, если не от необходимости отличиться – другими словами – усовершенствовать свои способности для пользы других, хотя человек и ищет похвалы людей, не подозревая такого последствия? Но это желание чести неугасимо, и человек желает перенести награду свою даже за пределы гроба. Поэтому, тот, кто больше других убил львов и врагов, естественно верит, что в другом

мире ему достанутся лучшие участки для его охоты и лучшие места за небесными пирами. Природа, во всех действиях своих, внушает ему мысль о власти невидимой, а чувство чести, т. е. желание славы и наград, заставляет его искать одобрения этой невидимой власти. Отсюда – первая мысль о религии. В предсмертных песнях, которые поет дикий, когда его привязывают к мучительному столбу, он, пророческими гимнами, рассказывает будущие почести и награды небесные. Общество идет вперед. Начинают строить хижины: устанавливается собственность. Кто богаче, тот сильнее. Власть становится почтенна. Человек ищет чести, связанной с властью, основанной на владении. Таким образом, поля обрабатываются; плоты переплывают реки, одно племя заводит торг с другим. Возникает торговля и начинается просвещение. Милостивые государи, то, что кажется всего меньше связано с честью, в наше настоящее время, ведет свое начало от правил чести. И так, честь есть основание всякого успеха в усовершенствовании человечества.

– Вы говорили, как ученый, брат, – сказал мистер Какстон, с изумлением.

– Да, милостивые государи, – продолжал капитан, с тою же непоколебимую уверенностью; – возвращаясь ко временам варварства, я возвращаюсь к истинным началам чести. Потому именно, что эта кругленькая штучка не имеет вещественной цены, она становится бесценна; только поэтому, она и есть доказательство заслуги. Где же была бы моя заслуга, если бы я мог ею купить опять мою ногу, или променять ее на сорок тысяч фунтов стерлингов дохода? Нет, вот в чем её цена: когда я надену ее на грудь, люди скажут: «этот старик не так бесполезен, как можно подумать; он был один из тех, которые спасали Англию и освободили Европу.» Даже тогда, когда я ее прячу (тут дядя Роланд поцеловал свою медаль, привязал ее опять к ленточке, и всунул в прежнее место), и не видит её ни один чужой глаз, цена её возвышается мыслью, что отечество мое не унизило древних, истинных начал чести, и не платит воину, сражавшемуся за него, тою же монетою, какою вы, мистер Джэк, платите вашему сапожнику. Да, милостивые государи! Храбрость есть первая добродетель, порожденная честью, первый исходный пункт безопасности народов и их просвещения; поэтому мы, милостивые государи, совершенно правы, что предохраняем хоть эту добродетель, от денежного осквернения, от этих расчетов, составляющих не добродетели образованности, а пороки, от неё происшедшие.

Дядя Роланд замолчал; потом налил свою рюмку, встал и торжественно сказал:

– Последний тост, господа! Умершим за Англию!

Глава III.

– Право, мой друг, вам надо выпить это. Ты верно простудился: ты чихнул три раза сряду.
– Это от того, матушка, что я понюхал табак из табакерки дяди Роланда, только ради этой чести, понимаете?

– Скажи пожалуйста, что ты сказал такое в это время, от чего улыбнулся отец? Я не слышала и поняла только что о жидах и о коллигиуме.

– О каких жидах? – *colleg isse juvat*. Это значит, матушка, что приятно понюхать табак из табакерки храброго. Поставьте же ваш декокт: извольте, выпью его после, для вас. А теперь, сядьте ко мне... сюда: вот эдак, и расскажите мне все, что вы знаете о славном капитане. Во-первых, он гораздо старше батюшки?

– Еще бы! – воскликнула матушка с негодованием. Он на лицо старше отца двадцатью годами, хотя между ними только пять лет разницы. Отец твой всегда должен казаться молодым.

– Зачем дядя Роланд ставит это нелепое французское *de* перед своей фамилией? А от чего они прежде были не хороши с отцом? А женат он? Есть у него дети?

Местом действия этого совещания была моя маленькая горница, к моему возвращению оклеенная новыми обоями: обои представляли решетку с цветами и птицами и были такие свежие, новые, чистые, веселые; книги мои расставлены были на красивых полках, письменный стол стоял под окном, в которое смотрел кроткий, летний месяц. Окно было несколько отворено: слышалось благоухание цветов и только что скошенного сена. Было за 11 часов. Мы сидели с матерью одни.

– Помилуй, друг мой, сколько вопросов вдруг!

– Так вы не отвечайте. Начинайте с начала, как няня Примминс рассказывает свои сказки. Жил-был...

– Жил-был, – сказала матушка, целуя меня между глаз, – был, душа моя, в Кумберланде некий пастор, у которого было два сына; средства его к жизни были незначительны, и дети должны были сами пробить себе дорогу. Рядом с жилищем пастора, на вершине горы, стояла старая развалина с покинутой башней, и она, с половиною всей окрестности, принадлежала некогда семейству пастора; но все отошло понемногу, все было продано, все, понимаешь ли, кроме права на место приходского пастора, предоставленное меньшому в семействе. Старший сын был твой дядя Роланд, меньшей – твой отец. Теперь я думаю, что первая их ссора произошла от самой нелепой причины, как сказывал и отец, но Роланд был до крайности щекотлив во всем, что касалось до его предков. Он беспрестанно изучал родословное, древнее дерево, или читал рыцарские книги, или бродил между развалин. Где началось это дерево, я не знаю; кажется, однако, что Король Генрих II дал земли в Кумберланде какому-то сэру Адаму Какстон, и от него линия шла, не прерываясь, от отца к сыну, до Генриха V. Тогда, вероятно по поводу беспорядков и смут, произведенных, по словам твоего отца, войнами Роз, начинают попадаться только одно или два имени без чисел и браков, вплоть до Генриха VII, кроме имени Вильяма Какстон, при Эдуарде IV, в одном духовном завещании. В нашей сельской церкви воздвигнут прекрасный бронзовый памятник сэру Вильяму де-Какстон, рыцарю, убитому в сражении при Босворте и сражавшемуся за нечестивого Короля Ричарда III. Около того же времени жил, как тебе известно, славный типографщик Вильям де-Какстон. Отец, будучи в Лондоне у тетки, тщательно перерывал все старые бумаги архива герольдии и имел несказанное удовольствие удостовериться, что происходит не от бедного сэра Вильяма, убитого за столь неправо дело, но от знаменитого типографщика, происходившего от младшей линии того же рода, потомству которого досталось поместье при Генрихе VIII. За это дядя Роланд и поссорился с братом, и я дрожу всякий раз, когда подумую, что они могут когда-нибудь опять напасть на этот вопрос.

– Стало быть, матушка, дядя решительно виноват, по суду здравого смысла; но верно, кроме этой причины, есть другая.

Матушка опустила глаза и с замешательством потеряла руки, что было у ней всегда признаком замешательства.

– Матушка, сказал я, ласкаясь, – скажите, что же это такое?

– Думаю, – отвечала она, – то есть, кажется, что они оба были влюблены в одну и ту же девушку.

– Как? что? батюшка когда-нибудь был влюблен в кого-нибудь кроме вас?

– Был, Систи, был; и страстно, глубоко, – отвечала матушка и, вздохнув и помолчав несколько минут, продолжала: – и он никогда не любил меня, в чем (это главное) чистосердечно мне признался.

– А вы все-таки...

– Вышла за него. Да, и оттого вышла, – продолжала она, возводя к небу ясные, кроткие глаза, в которых каждый любящий с восторгом желал бы прочесть судьбу свою, – оттого, что старая его любовь была безнадежна. Я знала, что могла сделать его счастливым, знала, что со временем он будет любить меня; так и случилось! Дитя мое, отец меня любит!

При этих словах, щеки матушки покрылись ярким, девственным румянцем; кроткая красота её выражала столько доброты, она так была еще молода, что, если бы отец не умел полюбить подобное создание, вы бы сказала, что это случилось единственно потому, что им овладел Дузий, враг Тевтонов или Нок, морской демон Скандинавов, от которых, по уверению ученых, произошли наши новейшие демоны, даже «Старый Ник» и наш Английский Дьюс.

Я прижал её руку к губам, но сердце слишком было полно, и говорить я не мог. Через несколько минут я нарочно переменял разговор.

– Стало, это соперничество поссорило братьев еще больше. Кто же была эта дама?

– Отец никогда не говорил об этом, а я не спрашивала; знаю только, что на меня она не была похожа. Красавица собой, совершенная во всех отношениях, знатного рода.

– Благоразумно сделал батюшка, что обошел ее. Ну, да что об этом. А капитан что?

– В это время скончался ваш дедушка, а скоро после него, богатая, скупая тётка, которая каждому племяннику оставила 16,000 фунтов стерлингов. Дядя купил за невероятно дорогую цену старую башню, с окружающими землями, которые, говорят, не дают ему и 500 ф. с. ежегодного дохода; на остальные деньги он купил офицерский чин, и братья с тех пор не видались до прошлой недели, когда Роланд приехал сюда неожиданно.

– Он не женился *на совершенстве*?

– Женился, да на другой, и овдовел.

– Отчего ж он был столько же непостоянен, как батюшка, и верно без такой прекрасной причины? Как это было?

– Не знаю, он ничего не говорит об этом.

– А дети есть у него?

– Двое: сын, – кстати, не говори с ним никогда о нем. Когда я спросила дядю об его семействе, он отвечал сухо: «у меня есть дочь, был сын, но...»

– Он умер! – прервал отец, своим добрым, нежным голосом.

– Умер для меня, и прошу вас, брат, никогда не называть его при мне. – Если б вы видели, как сердито смотрел он в то время: я ужасно испугалась.

– А дочь? от чего он не привез её сюда?

– Она осталась во Франции. Он все собирается за ней, и мы обещали навестить их в Кумберланде. Ах, Боже мои! ведь бьет двенадцать! Трава-то совсем простыла!

– Еще одно слово, матушка, одно только слово. Батюшкино сочиненье... скажите, он продолжает писать?

– Да, да! продолжает! – отвечала матушка, сложив ручки; он прочитает вам его, он и мне его читает... Ты все хорошо поймешь... Как мне всегда хотелось, чтобы свет узнал твоего отца и гордился им, как мы им гордимся, как мне этого хотелось! Видишь ли, Систи, если б он женился на той знатной девушке, то верно бы стал известен, одушевляясь желанием славы; а я могла только сделать его счастливым, и не могла ему дать славы!

– Все-таки он послушался вас, наконец?

– Меня? нет не меня, – отвечала матушка, качая головою и кротко улыбаясь; – разве дяди Джака, который, – говорю это с удовольствием, – совсем им завладел.

– Завладел, матушка! Берегитесь вы, пожалуйста, дяди Джака; он всех нас когда-нибудь задушит в какой-нибудь угольной руде, или взорвет на воздух, вместе с большой национальной компанией, составившейся для делания пороха из чайных листьев.

– Какой злой! – сказала матушка, засмеявшись; потом, взяв свою свечу и пока, заводил часы, сказала задумчиво:

– Джак очень сведущ и очень, очень, искусен... Вот кабы мы могли, Систи, нажать состояние для тебя!

– Матушка, вы меня пугаете! надеюсь, что вы шутите?

– А если б *мой* брат умел *его* прославить перед светом?

– Вашего брата хватит на то, чтобы потопить все корабли в Ла-Манше, – возразил я с явным неуважением.

Но не успел я выговорить эти слова, как уже раскаялся и, обняв обеими руками мать, старался сгладить поцелуями неудовольствие, мною нанесенное.

Оставшись один в моей горенке, где некогда сон мой был так глубок и мирен, я будто лежал на самой жесткой соломе. Я ворочался с боку на бок и не мог уснуть. Я встал, надел халат, зажег свечу, и сел за стол под окошко. Прежде всего я задумался над этим неконченным очерком молодости моего отца, неожиданно передо мною нарисованном, потом стал довершать сам недостающее, воображая, что эта картина изъяснит мне все, что так часто смущало мои предположения. Я понимал, с помощью какого-то тайного сочувствия моей личной природы (опытом я еще не мог узнавать людей), я отгадывал, как пылкий, пытливый ум, не найдя ответа на первую, глубокую страсть, погрузился в занятия, пассивно и без цели. Я понимал, как для человека, предавшегося ленивой неге счастливого, хотя и лишенного восторгов любви, супружества, могли пройти в ученом уединении целые года, в объятиях тихой, заботливой подруги, неспособной возбудить деятельность ума, по своей природе созерцательного. Я понял также, почему, когда отец вошел в зрелые лета, время, в которое во всех говорит честолюбие, и в нем заговорил давно-умолкший голос, и ум его, наконец освобождаясь от тяжелого гнета неудач и разочарования, еще раз, как в цветущей молодости, увлекся единственной любовницей гения: славой!

И как я сочувствовал торжеству моей матери! Припоминая прошедшее, я видел, как она вкрадывалась в сердце моего отца, – как то, что прежде было снисходительностью, обратилось в самоотвержение, как привычка и несчетные проявления нежности в жизни домашней заменили, для человека доброго, то чувство, которого не было у ученого.

Я подумал потом о старом, седом воине, с его орлиным взором, развалившейся башней и пустыми полями, и увидел перед собою его гордую молодость, рыцарскую, блуждавшую по развалинам, или задумывавшуюся над старой родословной. И этот сын, обездоленный, – за какую непонятную обиду?... Меня одолевал ужас; и эта девушка, овечка, – его сокровище, его все? Хороша ли она собою? голубые глаза у нее, как у моей матери, или римский нос и черные, дугообразные брови, как у капитана Роланда! Я мечтал, мечтал и мечтал. – Свет месяца становился ярче и спокойней; свеча погасла; мне показалось, что я летаю в воздушном шаре, вместе с дядей Джаком и только что свалился в Черное море, как вдруг знакомый голос няни

Примминс воззвал меня к действительности, словами: «Боже ты мой! Дитя-то, видно, всю ночь не ложилось в постель!»

Глава IV.

Наскоро одевшись, я поспешил сойти вниз, потому что мне хотелось навестить места моих прежних воспоминаний: – клумбу, где были насажены мною анемоны и кресс-салат, дорожку к персиковым деревьям, пруд, где я удил карасей и окуней.

Войдя в залу, я нашел дядю Роланда в большом затруднении. Служанка мыла порог из сеней: она была неуклюжа и от природы, а женщина становится еще неуклюжее, когда ей стукнет сорок лет! – и так, она мыла порог, стоя задом к капитану, а капитан, который, вероятно, обдумывал вылазку, удивленный, смотрел на предстоявшее препятствие и громко покашливал. К несчастью, служанка была глуха. Я остановился, чтобы посмотреть, как дядя Роланд выпутается из этой дилеммы.

Убедившись в том, что его кашель не поведет ни к чему, дядя съежился, как только мог, и скользнул вдоль левой стены: в эту минуту, служанка вдруг повернулась направо, и этим движением совершенно загородила узкий проход, сквозь который светил луч надежды для её пленника. Дядя снял шляпу и, в недоумении, почесал себе лоб. В это время служанка, быстрым поворотом, дав ему возможность вернуться, отняла у него все средства продолжать путь. Он быстро отступил, и оказался уж на правом фланге неприятеля. Едва сделал он это, служанка, не смотревшая назад, поставила перед собою таз с водою, составлявший средоточие и главное орудие её операции: таким образом, она воздвигла баррикаду, которой дядя мой, с деревянной своей ногой, не мог надеяться преодолеть. Капитан Роланд возвел глаза к небу, и я слышал, как он явственно произнес: – Боже мой, если б это создание было в панталонах!

К счастью, служанка вдруг обернулась, отставила таз и, увидав капитана, подобострастно присела перед ним. Дядя Роланд поднял руку к шляпе: – извини меня, душа моя! сказал он и, слегка поклонившись, выпорхнул на свежий воздух.

– Вы учтивы по-солдатски! сказал я, подавая руку капитану Роланду.

– Ни мало, голубчик, – отвечал он серьезно, улыбаясь и краснея до висков. – Для нас, сэръ, всякая женщина – леди, по праву её пола.

Я часто имел случай вспоминать этот афоризм моего дяди: им-то объяснилось мне, почему человек, у которого фамильная гордость обратилась в слабость, никогда не видел обиды в том, что отец мой вступил в союз с женщиной, которой родословная была очень молода. Будь моя мать какая-нибудь Монморанси, он не мог быть почтительнее и вежливее, чем был в обхождении с скромною отраслью Тибетсов. Он держался правила, которого никогда при мне не защищал ни один человек, гордящийся своим происхождением, и выведенного из следующего умозаключения: во-первых, что рождение, само по себе, не имеет цены, но важно потому, что оно передает качества, которые должны сделаться необходимою принадлежностью воинственного рода, каковы: верность, храбрость, честь; во-вторых, что с женской стороны переходят к нам умственные способности, а с мужской моральные свойства; у умного и острого человека была, по его мнению, непременно умная и острая мать, а у человека храброго и честного, храбрый и честный отец. Поэтому и должны переходить из рода в род только те качества, которые мы получаем от отца. Сверх того, он утверждал, что если в аристократии понятия более возвышенные и рыцарские, то идеи народа отличаются живостью и остротою, почему думал, что смешение джентльменов с простым народом, но с его женской стороны, не только извинительно, но и полезно. Окончательно, он уверял, что мужчина есть животное чувственное и грубое, требующее всякого рода соединений, которые бы облагородили его, – женщина же от природы так способна ко всему прекрасному, по отношению к чувству и к благородному, по целям, что ей достаточно быть истинной женщиной, для того, чтобы быть достойной сделаться подругой короля. Странные и нелепые воззрения, подлежащие сильным опровержениям! Но дело

в том, что мой дядя Роланд был такой эксцентричный джентльмен и охотник до противоречий, как... как... вы да я, когда мы решаемся думать про себя.

– Ну, сэръ, к чему же вас готовят? спросил дядя. – Неужели не к военной службе?

– Я никогда об этом не думал, дядюшка!

– Слава Богу, сказал капитан, – у нас не было в роде ни адвокатов, ни чиновников, ни купцов... ГМ...

Я понял, что в этом «ГМ», дядя вспомнил про нашего предка, славного типографщика.

– Что ж, дядюшка? Честные люди есть во всех сословиях.

– бесспорно, сэръ, но не во всех сословиях честь – первый двигатель.

– А может сделаться им... Есть ведь и солдаты, бывшие страшными мошенниками.

Этот ответ удивил дядю: он нахмурился.

– Вы правы! отвечал, он тише обыкновенного. Но неужели вы думаете, что мне было бы также весело глядеть на мою старую, развалившуюся башню, когда бы я знал, что она была куплена продавцом сельдей, как первым родоначальником Полей, как и теперь, когда я знаю, что она была пожалована Генрихом Плантагенетом, рыцарю и дворянину (который ведет свою родословную от одного Англо-Датчанина времен Короля Альфреда), за службу его в Аквитании и Гасконии? И неужели вы хотите меня уверить, что я был бы тем же самым человеком, если б я с детства не связывал этой башни с понятием о том, кто были её владельцы и кем следовало быть им, рыцарям и джентльменам? Из меня, сэръ, вышло бы не то, если бы в главе моего рода стоял сельдяной торговец, хотя, бесспорно, и он мог быть такой же хороший человек, как и Англо-Датчанин, царство ему небесное!

– И по этой же самой причине, вы, сэръ, вероятно, предполагаете, что и мой отец был бы не совсем тем, чем он теперь, если б он не сделал замечательного открытия о нашем происхождении от знаменитого типографщика Виллиама Какстона.

Дядя подпрыгнул, словно бы кто-нибудь выстрелил в него, – и так неосторожно, в отношении к материалам, из которых была составлена одна его нога, что упал бы в грядку земляники, если б я не ухватил его за руку.

– Как, вы, вы – вы сумасброд! закричал капитан, отталкивая мою руку и едва пришел в равновесие. – Так вы наследовали эту нелепость, которую мой брат вбил себе в голову? Надеюсь, что вы не променяете сэра Виллиама де-Какстон, который сражался и пал под Босвортом, на ремесленника, который продавал какие-то чернокнижные памфлеты в Вестминстерской церкви.

– Это зависит от силы доказательств, дядюшка.

– Нет, сэръ, подобно всем высоким истинам, и это зависит от *веры*. В наше время, – продолжал дядюшка, с видом невероятного отвращения – люди требуют, чтобы истины были доказываемы.

– Это, конечно, странное требование, любезный дядюшка. Но покуда истина не доказана, всегда ли можно знать, что она, в самом деле, истина?

Я думал, что этим глубокомысленным вопросом положительно поймал дядюшку. Не тут-то было. Он вывернулся из него, как угорь.

– Сэръ, сказал он, – в истине то, что согревает сердце и очищает душу, происходит от веры, а не от знания. Доказательство, сэръ, – цепи; вера – крылья! Вы хотите, чтоб вам доказали, что тот или другой из ваших предков жил во времена Короля Ричарда. Да вы, сэръ, не в состоянии логически доказать, что вы сын вашего собственного отца. Человек религиозный, сэръ, не станет рассуждать о своей религии: религия не математика. Доказательства, продолжал он, с сердцем – это низкий, подлый, площадной, бесчестный якобинец, вера – прямой благородной, рыцарственный джентльмен! Неи, нет, доказывайте что хотите: вы не отымите у меня ни одного из тех верований, которые сделали из меня...

– Добрейшее из тех существ, которые говорят глупости, сказал мой отец, подоспевший в самую пору, как божество Горация. – Во что это вы должны верить, какие бы доводы ни были против вас?

Дядя молчал и только с большой энергией втыкал в щепень кончик своей трости.

– Дядюшка не хочет верить в нашего знаменитого предка, типографщика, – сказал я.

Спокойное выражение лица моего отца, в один миг, помрачилось...

– Брат, – сказал гордо, капитан; – вы можете думать как хотите, но вам бы не мешало помнить, что ваши мысли искажают понятия вашего сына.

– Искажают? сказал мой отец, – и я в первый раз увидел искру гнева, сверкнувшую в его глазах, но он сейчас же удержался; – перемените это слово.

– Нет, сэ, я не переменю его! Искажать смысл семейных памятников!

– Памятники! Какие же памятники! Медная доска в сельской церкви, противная всем актам геральдики.

– Не признавать за предка рыцаря, умершего на поле битвы!

– За что?

– За короля!

– Который убил своих племянников!

– Рыцарь! с нашим гербом на шлеме!

– Под которым не было мозгу, иначе он не отдал бы его за кровожадного злодея!

– Какой-нибудь подлец типографщик, который трудился из-за денег!

– Мудрое и благородное орудие искусства, которое просветило мир. Предпочитать происхождение от неизвестного рыцаря, оставившего по себе единственный памятник – медную доску в сельской церкви, происхождению от человека, которого имя умные и ученые люди произносят с уважением.

Дядюшка побагровел и отвернулся.

– Довольно, сэ, довольно! я достаточно оскорблен. Я должен был ожидать этого. Честь имею кланяться вам и вашему сыну.

Мой отец оцепенел! Капитан, почтя в припрыжку, пошел к калитке: еще мгновение, и он был бы за границею наших владений. Я подбежал к нему и повис на нем:

– Дядюшка, во всем виноват я. Я совершенно согласен с вами. Сделайте милость, простите нас обоих. Мог ли я подумать, что оскорблю вас! А отец? Посещение ваше так его обрадовало.

Дядя остановился, ища щеколды. Тогда подошел отец и схватил его за руку:

– Стоят ли все типографщики мира и все их книги одного оскорбления вашему доброму сердцу, брат Роланд? Хорош и я-то. Известное дело, слабость нашего брата, ученого! Стал ли бы я учить ребенка таким вещам, которые могли бы оскорбить вас? Да я, право, и не помню, учил ли я его когда чему. Пизистрат, если тебе дорого мое благословение, я тебе приказываю считать своим родоначальником сэра Уильяма де-Какстон, героя Босвортского. Пойдем, пойдем!

– Я старый дурак, сказал дядя Роланд – как ни смотри на это. А вы! эдакий щенок! он теперь смеется над нами обоими!

– Я велела подать завтрак на лужайке, сказала моя мать, сходя с крыльца, с радушной улыбкой на губах, – и я надеюсь, что наш чай вам сегодня понравится.

Птицы пели над нашими головами, или доверчиво прыгали, подбирая крошки, которые бросали им, солнце грело не сильно, листья тихо перешептывались в утреннем воздухе. Мы сели за стол, примиренные и готовые так же искренно благодарить Бога за все красоты мира, как если бы река полей Босвортских никогда не обгалялась кровью, как будто бы достойный мистер Какстон не всполошил всего человечества раздражительным изобретением,

в тысячу раз более взволновавшим наши воинственные склонности, нежели звук труб и вид развевающегося знамени!

ГЛАВА V.

– Брат, пойдем погулять к Римскому стану, – сказал мой отец.

Капитан понял, что это предложение было лучшим залогом примирения, какой только мог выдумать отец: во-первых, прогулки была длинная, а отец ненавидел длинные прогулки; во-вторых, он жертвовал целым днем труда над своим большим сочинением. Но с той нежной, чувствительностью, которая есть принадлежность великодушных сердец, дядя Роланд, сейчас же, принял предложение. Если б он отказался, горькое чувство целый бы месяц тревожило душу моего отца. Могло ли бы идти успешно сочинение, если б сочинителя возмущало раскаяние?

Полчаса после завтрака, братья, взявшись об руку, пошли. Я следовал за ними в некотором отдалении и дивился твердой поступи старого солдата, с его пробочной ногой. Весело было слушать беседу двух эксцентрических созданий матери-природы, у которой нет стереотипов; я думаю, даже, что невозможно найти двух блох, совершенно между собою сходных.

Мой отец не был особенным наблюдателем красот сельской природы. У него так мало был развит орган памяти мест, что, кажется, он мог бы заблудиться в своем собственном саду, но капитан живо воспринимал внешние впечатления: ни одна черта ландшафта не ускользала от него. Он останавливался перед каждым пнем, прихотливо-изуродованным; следил взором за жаворонком, вспорхнувшим из-под его ног; с наслаждением вдыхал, расширяя ноздри, каждую струйку ветерка, прилетавшего с горы. Отец мой, не смотря на всю свою ученость, на все сокровищницы языков, открытых перед ним наукою, редко бывал красноречив. Капитан говорил с таким жаром, с такой страстью, движения его были так оживлены, голос так звучен, что всякая речь его делалась на половину поэтической. Гордость дышала в каждой фразе дяди Роланда, в каждом звуке его голоса и игре лица. В моем отце вы не нашли бы гордости и на столько, сколько её в гомеопатической крупинке: он не гордился даже и тем, что не имел гордости. Напрасно трудился бы тот, кто захотел бы раздражить и расшевелить в нем желчь: раздуйте все его перья, – и все-таки вы нашли бы только голубя. Отец всегда был кроток и тих, дядя – горяч и вспыльчив; отец редко ошибался в суждениях; дядя редко был совершенно прав; отец говорил о нем: «Роланд так исходит все кусты, что всегда выгонит птицу, которую мы искали; ошибается сам для того, чтобы показать нам что справедливо». В дяде все было резко, строго, угловато; в отце моем – гладко, нежно и округлено природной грацией. Характер дяди, подобно готическому зданию под северным небом, бросал тысячу многообразных теней; отец стоял светел на полуденном солнце, подобно Греческому храму под южным небом. Лица их соответствовали внутренним свойствам. Орлиный нос дяди Роланда, смуглый цвет лица, огненный взор, дрожащая верхняя губа, составляли яркую противоположность с нежным профилем отца, его тихим, спокойным взором, добродушной кротостью его задумчивой улыбки. Лоб Роланда был очень высок, возвышаясь к вершине, где френологи полагают орган благоговения, но узок и прорезан глубокими морщинами. Лоб Огюстена был тоже высок, но мягкие, шелковистые кудри, вясь небрежно, скрывали высоту, а не широту чела, на коем не было видно ни одной морщины. Между тем в обоих братьях семейное сходство было разительно. Покоряясь какому-нибудь нежному чувству, Роланд глядел взглядом Огюстена; когда возвышенное чувство одушевляло моего отца, можно было принять его за Роланда. После, наученный жизнью и людьми, я часто думал, что если б в молодости они обменялись судьбами, если б Роланд предался литературе, а отец принужден был действовать в свете, то каждый из них приобрел бы большие успехи. Энергия и страстный характер Роланда дали бы занятиям сильный и немедленный исход: из него вышел бы поэт или историк. Не наука создает писателя, а настойчивая сосредоточенность его прилежания. В разуме, как в камине, который теперь горит передо мною, нужно сузить струю воздуха, чтоб огонь горел ярко и горячо. С другой сто-

роны, если бы отец пустился в мир практический, спокойная глубина его понимания, светлый ум, определенная точность однажды приобретенных и обдуманых познаний, вместе с невозмутимым никакими невзгодами и неудачами характером и совершенным отсутствием самолюбия, суетности, страстей и предрассудков, – могли бы сделать из него умного советника в важных делах жизни, адвоката, государственного человека, дипломата, и даже полководца – если бы чрезвычайное человеколюбие не стояло для него за пути военной математики.

Но, при настоящем ходе вещей, душа моего отца, не подстрекаемая ни деятельностью, ни ученым честолюбием, беспрепятственно расширяла свой круг, покуда не слилась с безбрежным океаном созерцания.

Страстная энергия дяди Роланда, постоянно раздражаемого препятствиями, в борьбе с людьми, и сокращаемая, по мере того как она должна была входить в узкую колею долга и дисциплины, не исполнила высокого своего призвания, и вместо поэта вышел просто юморист!

И однако же, тот, кто когда-нибудь знал вас, мог ли желать видеть иными вас, невинные, любящие, честные, простые создания! – Да, простые оба, не взирая на ученость одного, предубеждения, сумасбродства и все странности другого! Вот, вы сидите оба на вершине древнего Римского стана, с волюмом *стратагем Полиэна* (или Фронтинана), разогнутым на коленях у моего отца: овцы пасутся в расселинах, окружающих вал; вол останавливается перед вами посреди широкого поля, где сбирались Римские когорты, словно любопытствуя взглянуть на вас... Вот стоит за вами, сложа руки, юноша-биограф, и слушает, попеременно, то чтение ученого, то пояснения воина, который костью своим указывает важные места войны и населяет сельский ландшафт орлами Агриппы и колесницами Боадицеи, с воинами, вооруженными косами...

Глава VI.

– В этой стороне не бывает два часа сряду одна и та же погода! – сказал дядя Роланд, когда после обеда или, вернее, после десерта, мы пошли к матушке в гостиную.

Действительно уже шел мелкий, холодный дождик и хотя был Июль, на дворе стало вдруг холодно, как в Октябре. Матушка шепнула мне на ухо и я вышел; через пять минут сухие, толстые полена (мы жили в лесной стороне) весело трещали в камине. – Отчего матушка не позвонила, чтобы приказать слуге развести огонь? Любезный читатель, дядя Роланд был беден, и считал экономию большой добродетелью.

Оба брата подвинули стулья к камину, отец слева, дядя справа; мы с матушкой сели к столу и принялась раскладывать пасьянс.

Принесли кофе – одну чашку для капитана: прочие собеседники избегали этого горячительного напитка. На чашке был портрет его светлости, Герцога Веллингтона!

Пока мы совершили путешествие к Римскому стану, матушка выпросила каретку мистера Скиля и нарочно съездила в город, чтобы доставить капитану удовольствие взглянуть на портрет своего прежнего генерала.

Дядя переменялся в лице, встал, поцеловал руку матушки и, молча, сел за свое место.

Спустя несколько минут капитан сказал: – Я слышал, что Маркиз Гастингс, который с головы до ног солдат и джентльмен, а этим сказано не мало, потому что в нем росту семьдесят пять дюймов, – когда принимал в Доннигтоне (в то время изгнанника) Людовика XVIII, убрал свои покои по подобию тех, которые занимал Его Величество в Тюильри: это внимание истинно царское (вы знаете, что Милорд Гастингс происходит сам от Плантагенетов), стоившее чести принять у себя короля. Денег пошло не мало, было и много шума. Женщина может явить то же внимание, ту же нежность сердца, какой-нибудь фарфоровой чашкой, и так тихо и незаметно, что мы, мужчины, сочтем это за предлог к прогулке. Не так ли, брат Остен?

– Вы такой поклонник женщин, Роланд, что грустно видеть вас вдовым. Вам надо опять жениться.

Дядя сперва улыбнулся, потом нахмурился и, наконец, глубоко вздохнул.

– Тяжко будет проходить над вами время, в вашей старой башне, – продолжал отец – с одной дочерью.

– А прошедшее, – отвечал дядя, – прошедшее, этот необъятный мир.

– Вы все читаете ваши старые рыцарские книги: Фруасара, летописцев, Палмерина и Аматиса?

– О, – сказал, краснея, дядя, – я старался заняться более существенными предметами. Ну, а потом (прибавил он, лукаво улыбаясь) будет у нас ваша большая книга, не на одну длинную зиму.

– Гм! – скромно отвечал отец.

– Знаете ли, продолжал дядя, что мистрис Примминс очень умная женщина: исполненная фантазии и славная рассказчица?

– Не правда ли, дядюшка? – воскликнул я, оставив пасьянс на углу стола. – Ах, если бы вы слышали, как она мне рассказывала повесть о Заколдованном Озере и Короле Артуре, и другую о страшной белой женщине.

– Я слышал обе повести, – отвечал дядя.

– Черт бы побрал вас, братец! Душа моя, за этим надо наблюдать нам. Эти капитаны джентльмены опасны в порядочном семействе. Где же, прошу сказать, могли вы найти случай к таким коротким сношениям с мистрис Примминс?

– Раз, отвечал дядя не запинаясь, когда я вошел в её горницу, покуда она чинила мой чулок, да раз...

Тут дядя остановился и посмотрел в сторону.

– Да раз... когда?

– Когда она грела мою постель, – сказал дядя шепотом.

– То-то, сказала простодушно матушка, – и явилась большая дыра на простыне. Я тотчас подумала, что это от грелки.

– Мне, право, ужасно совестно – пролепетал дядя.

– И есть от чего – сказал отец – женщина, которая дожила до сих пор без малейшего пятна на её нравственности; ну, да полно уж, – продолжал он, замечая, что дядя смотрел невесело, вы сами всегда была славный рассказчик и сказочник... Поведайте-ка нам, Роланд, какую-нибудь свою историю, что-нибудь такое, что оставило в вас сильное впечатление.

– Сперва спросим огня, – сказала матушка.

Свечи принесли, опустили шторы, и мы все придвинули стулья к камину. Но, этим временем, дядя впал в грустную задумчивость; когда мы все приступили к нему с просьбой чтоб он начинал рассказ, он, казалось, боролся с мрачными воспоминаниями.

– Вы хотите, чтобы я, – начал он, – рассказал вам что-нибудь такое, что сделало на меня сильное впечатление: я расскажу вам одно приключение из моей жизни: оно часто меня преследует. Оно печально и странно, миледи.

– Что за миледи, *братец*? – сказала матушка, с упреком кладя маленькую свою руку на широкую, загорелую ладонь, которую протянул капитан.

– Остен – сказал дядя – у тебя жена ангел! – И он был чуть ли не первый человек, решившийся произнести столь смелый приговор.

Глава VII.

Рассказ моего дяди

– Это бы 40 в Испании, что до того, где и как. Я взял в плен Французского офицера, одного со мной чина: тогда я был лейтенант. Столько было сходства в наших чувствах, что мы сделались искренними друзьями; да, сестра, он был моим лучшим другом, выключая вас всех: он был простой солдат, не балованный жизнью, но он никогда не жаловался ни на кого и говорил, что не заслужил счастья. Честь была его кумир, и чувство чести вознаграждало его за недостаток во всем; мы оба были в это время волонтерами в чужой службе, в самой неприятной службе, потому что участвовали в междоусобной войне, он с одной стороны, я с другой, оба может быть, разочарованные в деле, которое защищали. И в наших семейных отношениях было что-то сходное. У него был сын: ребенок, который, после отечества и долга, был для него все в жизни. И у меня в то время был такой же сын, хотя помоложе. (Капитан на минуту замолчал; мы все переглянулись, и чувство грусти овладело всеми слушателями.) Мы часто говорили между собою о детях, рисовали их будущность, сравнивали надежды наши и сны. Мы надеялись и мечтали одинаково. Не много нужно было времени, чтобы упрочить взаимную доверенность. Пленника моего отослали в главную квартиру и вскоре разменяли.

До прошлого года, мы не встречались. Будучи в Париже, я стал отыскивать моего старого друга и узнал, что он живет в Р., в нескольких милях от столицы. Я поехал к нему. Дом его стоял пуст. В день моего посещения его посадили в тюрьму, обвиненного в ужасном преступлении. Я навестил его в тюрьме и от самого его узнал все дело. Сын его был воспитан – так думал он – в правилах чести; окончив воспитание, он приехал к отцу и поселился с ним в Р. Молодой человек привык часто ездить в Париж. Молодой Француз любит удовольствие, сестрица, а в Париже за этим дело не станет. Отец находил поездки очень естественными, и отказывал себе во многих удобствах жизни, для удовлетворения сыновних прихотей.

Вскоре по приезде молодого человека в Р., мой друг заметил, что его обокрали. Были вынуты деньги из его бюро, но как и кем, нельзя было понять. Воровство, решил он, случилось ночью. Раз он спрятался, чтоб подстеречь вора. Вдруг, видит, крадется тень, вкладывает фальшивый ключ. Он бросается из засады, хватает бездельника и узнает собственного сына. Что тут делать отцу? я спрашиваю не вас, сестрица! я спрашиваю этих двух мужчин: сына и отца. Я спрашиваю вас!

– Выгнать его из дома! воскликнул я.

– Исполнив свой долг, наставить несчастного на путь, – сказал отец – *Nemo repente turpissimus unquam fuit*... никто не сделался дурным с разу, вдруг.

Отец и сделал то, что вы советуете, брат: принял в расчет молодость. Он всеми силами старался внушить сыну все правила нравственности и отдал ему ключ от бюро: «возьмите все, что я могу дать, сказал он сыну, мне легче быть нищим, нежели знать, что сын мой вор.»

– И дельно! – воскликнул батюшка. – И сын раскаялся и сделался честным человеком.

Капитан Роланд только покачал головой.

Юноша, казалось, раскаивался и обещал исправиться. Он говорил об искушениях Парижа, об игре и Бог знает о чем еще; он перестал ездить в Париж и, по-видимому, стал заниматься наукой. Вскоре за тем все соседство встревожилось от слухов о ночных разбоях по дороге. Вооруженные люди, в масках, останавливали прохожих и проезжих, даже вламывались в дома.

Наконец полиция должна была вступиться. Однажды ночью, один старый товарищ по службе моего друга постучался к нему в дом. Было поздно: друг мой лежал в постели (и у него была деревянная нога, также как у меня: странная случайность!): – поспешно встал он, когда слуга разбудил его докладом, что раненый и весь окровавленный офицер просит

убежища под его кровлей. Рана, однако, была не опасная. На гостя напали на дороге и ограбили его. Поутру послали за начальником города: ограбленный объявил, что у него пропал портфель, на котором вытиснен был его вензель с короной (он был виконт) и с портфелем несколько пятисотфранковых билетов. Он остался обедать. Поздно вечером пришел сын. Увидав его, гость смутился: мой приятель заметил его бледность. Гость, под предлогом слабости, ушел в свою комнату и послал за своим козлином.

«Друг мой, – сказал он ему: сделайте мне одолжение, съездите в суд и велите задержать мои показания...»

«Этого нельзя – отвечал хозяин. Да и с чего это вам вздумалось? – Гость вздрогнул.

«Я одумался – сказал он. Не хочу, на старости лет, быть не милосердным к другим. И кто знает, какому искушению поддался разбойник? у него могут быть связи, честные люди, которых его преступление опозорит. Боже мой! да разве вы не знаете, друг мой, что за это, если откроется, галеры, да, галеры?»

«Ну, так что ж? разбойник знал чему подвергался?»

«А отец его? знал, что ли?» – воскликнул гость. Неожиданный луч света поразил моего несчастного товарища: он схватил гостя за руку.

«Вы побледнели, когда вошел мой сын, где вы его видали прежде? говорите!...»

«Прошедшую ночь, по дороге из Парижа, маска упала с него на минуту... Подите же, возьмите назад мое объявление!!»

«Вы ошибаетесь, – спокойно сказал мой друг. Я видел моего сына в постели и благословил его, прежде нежели лег сам!»

«Верю, верю – отвечал гость; я никогда не повторю моего поспешного подозрения, – но все-таки надо взять назад показание.»

Перед вечером гость уехал в Париж. Отец стал говорить с сыном о его занятиях, проводил его в его горницу и, выждав покуда он лег, собрался идти к себе, но молодой человек сказал ему:

«Батюшка! вы забыли благословить меня!»

Отец вернулся, положил руку на голову юноши и стал молиться. Он был доверчив: – таковы отцы. И, уверенный, что старый его товарищ ошибся, он лег и скоро заснул!»

Вдруг он просыпается посреди ночи и слышит (помню даже все его слова): «слышу, – говорит, будто разбудил меня кто-то и говорит мне: встань и ищи! Я поспешно встал, зажег свечу и пошел в комнату сына» Дверь была заперта. Я – стучаться; раз, два, три... Нет ответа. Кликнуть громко не посмел, чтоб не разбудить слуг. Схожу вниз, иду на двор, отворяю конюшню. Моя лошадь стоит в стойле, лошади сына нет! Моя лошадь заржала: такая же старуха, как и я, – была подо мною под Мон-Сен-Жаном! – Я воротился вверх, подкрался опять к комнате сына и погасил свечу. Мне казалось, что я сам вор.»

– Братец! – прервала матушка, задыхаясь, рассказывайте своими словами, не повторяя слов несчастного отца: мочи нет слушать.

Капитан наклонил голову.

Перед рассветом, друг мой услышал, что задняя дверь дома тихо растворяется. Кто-то вошел по лестнице и ключом отворил дверь: отец в темноте вошел в комнату, вслед за сыном. Огниво ударяло о кремль; зажжена была свечка, но отец успел спрятаться за занавес окна. Фигура постояла перед ним несколько времени не шевелясь и, по-видимому, прислушиваясь, потом посмотрела направо, налево, – лицо было покрыто черной, отвратительной маской, какие употребляют во время карнавала, и, наконец, сняла маску.

Могло ли это быть лице его сына? – Сына честного человека? – Бледное, с выражением воровского страха: на лбу стояли капли гнусного пота; глаза сверкали, налитые кровью... Весь человек смотрел так, как должен смотреть разбойник, когда перед ним стоит смерть...

Молодой человек с усилием дотащился до конторки, отворил ее, выдвинул потайной ящик, и положил в него все, что было у него в карманах, и страшную маску; отец быстро подо-

шел, взглянул ему через плечо и увидел портфель с вензелем своего товарища. Сын вынул осторожно пистолеты, стал осторожно разряжать их, чтобы спрятать, как вдруг отец остановил его руку: «Разбойник, они сейчас будут нужны!»

Колена молодого человека подкосились: он готов был молить о пощаде, но когда, обернувшись, увидел не когти полицейского чиновника, как воображал, а руки родного отца, наглая дерзость, которая знает только страх веред силой, – не стыд, возвратила ему какое-то спокойствие.

– «Сэр! – сказал он, теперь не до упреков; я боюсь, жандармы попали на след. Хорошо, что вы здесь: вы можете присягнуть, что я провел ночь дома, в постель... Пустите меня. Надо спрятать все эти улики.» – И он указывал на платья, еще мокрые и обрызганные грязью дорога. Едва договорил он это, послышался под окном топот лошадиных подков по мостовой.

«Вот они! воскликнул сын. – Смелее, старый черт!»

«Галеры! галеры! – сказал отец, едва держась на ногах. – Правда. Он сказал: галеры!»

Поднялся страшный стук в ворота. Жандармы окружили дом. «Именем закона, отоприте!» Не было ответа. Дверь не отворялась; несколько человек обошли на заднюю сторону дома, где была конюшня. Из окна сыновней комнаты отец видел дрожащий свет факелов, мрачные формы солдат. Он слышал звук оружия, когда они слезали с лошадей. Вдруг голос закричал:

«Да вот и серая лошадь разбойника... она еще не отдышалась и вся в мыле.» Тогда и спереди, и сзади, у каждой двери опять начался стук, и крик: «Именем закона, отоприте!»

В окнах соседних домов начали показываться огни: окрестность наполнилась любопытными, пробужденными от сна; сходились из дальних улиц: толпа окружила дом; всем хотелось узнать, какое преступление, какой позор скрывался под кровом старого солдата.

Вдруг раздался выстрел, и через несколько минут, дверь отворилась, и старый воин вышел к жандармам.

«Войдите, сказал он им, что вам надо?»

«Мы ищем разбойника, который должен быть здесь.»

«Знаю, войдите на верх: я вам покажу дорогу.»

Он взошел по лестнице, отворил горницу сына, за ним вошли полицейские служители: на полу лежало тело разбойника. Жандарм, в недоумении посмотрели друг на друга.

«Возьмите, что вам, оставили, – сказал отец; – возьмите мертвого, освобожденного от галер, возьмите и живого, на чьих руках его кровь.»

Я присутствовал при суде над моим другом. Подробности дела давно были известны. Спокоен стоял он перед своими судьями, покрытый сединой, с изувеченными членами, глубоким рубцом на лице и крестом почетного легиона на груди; рассказав всю свою грустную повесть, он кончил следующими словами:

«Я спас сына, которого воспитывал для Франции от приговора, который сохранил бы ему жизнь со стыдом». Неужели эта преступление? Отдаю вам мою жизнь, взамен позора моего сына. Разве нужна моему отечеству жертва? Я жил для славы моего отечества, я готов умереть, довольный тем, что исполняю его законы; убежденный в том, что если вы и осудите меня, то презирать не станете, и в том, что руки, предавшие меня палачу, осыплют цветами мою могилу. Я исповедаю все. Я солдат, смотрю кругом и вижу нацию воинов; именем звезды, которая горит на моей груди, вызываю отцов с целой Франции осудить меня!»

Старого война оправдали; судьи произнесли приговор, соответствующий тому что называется у нас: убийством, вызванным необходимостью. В зале поднялся шум, которого не мог остановить и голос судей. Толпа хотела на руках вынести обвиненного, но его взгляд остановил это намерение: он воротился домой, и на другой день его нашли мертвым, подле той колыбели, у которой он произнес первую молитву над безгрешным ребенком. Теперь, отец и сын, я спрашиваю вас, осуждаете вы этого человека?

Глава VIII.

Отец мой раза три прошелся взад и вперед по комнате, потом остановился у камина и, глядя на своего брата, сказал:

– Я осуждаю это убийство, Роланд! Гордость и слепое себялюбие – самое благосклонное осуждение такому человеку. Я понимаю, почему Брут должен был убить своих сыновей. Этой жертвой он спасал отечество! Что спас этот несчастный, фанатик уродливого убеждения? только свое имя. Он не мог стереть преступления с души сына, ни бесчестия с его памяти. Он только удовлетворял суетному чувству личной гордости, и потеряв всякое сознание, он поступил по научению врага, всегда соблазняющего сердце человека: «Бойся мнения людского больше закона Божия!» – Да, любезный брат, чего должны больше всего беречься люди подобные вам? Конечно, не низости порока, но того порока, который облачается в мнимое благородство, заимствуя царственное величие добродетели!

Дядя пошел к окну, отворил его, высунулся на минуту, как будто бы для того чтобы вдохнуть струю свежего воздуха, потом тихонько затворил и воротился к своему месту; но пока окно было отворено, мотылек влетел в комнату.

– Такие повести, – продолжал отец жалобным голосом, – будь они рассказаны трагически, или просто, – приносят пользу. они проникают сердце, умудряя его, но, всякая мудрость милосерда, мой добрый Роланд. они предлагают тот же вопрос: можем ли мы осудить этого человека? рассудок отвечает, как я отвечал; мы осуждаем поступок, но жалеем о человеке. Мы... смотрите мотылек попадет на свечку. Мы... Фшь, фшь! – И отец остановился, чтоб прогнать мотылька. Дядя обернулся, и отняв от лица платок, которым закрывал свое волнение, стал отгонять мотылька от огня. Мать отодвинула свечку. Я принялся ловить его соломенной шляпой отца. А в мотылька точно черт вселился! он смеялся над всеми нами, то кружась под потолком, то вдруг бросаясь с вышины к проклятой свечке. Как бы сговорившись, отец подвинул одну свечу, дядя – другую, и пока мотылек летал вокруг, в недоумении, которую из них избрать своим костром, об свечи разом погасли. Дрова слабо тлились в камине, мы очутились в совершенной темноте, и тихий голос моего отца звучал словно голос невидимого духа.

«Мы остались в темноте для того чтобы спасти от смерти мотылька, – меньше ли, брат, должны мы делать для ближнего? Погасить надо, человеколюбиво погасить свет нашего разума, если мрак может благоприятствовать состраданию.

Прежде чем зажгли свечи, дядя ушел из комнаты. Брат его пошел за ним, а мы с матушкой уселись рядом и шепотом стали разговаривать.

Часть третья.

Глава I.

Я всегда любил вставать рано. Счастлив тот, кто держится этой привычки! Каждое утро, день приходит к нему с девственной любовью, полный цвета, чистоты, свежести. Юность природы заразительна, как радость счастливого ребенка. Не думаю, чтобы можно было называть человека «старым», покуда он встает рано и рано гуляет; за то, юноша – заметьте это – юноша в халате и туфлях, бесстрастно сидящий за завтраком в 12 часов, – бледный и безжизненный снимок с того, который видит первую улыбку солнца над горами и первые капли росы, сверкающие на цветущих изгородях.

Проходя мимо батюшкина кабинета, я с удивлением увидел, что окна его растворены, но удивился еще больше, когда, бросив взгляд в комнату, увидел отца, окруженного книгами: я знал, что он всегда садился за работу позавтракавши. Ученые люди редко встают рано, потому что вообще ученые ни в какие лета молоды не бывают. Решено, значит! Большая книга должна быть непременно кончена! Дело, видно, пошло не на шутку: это уж был настоящий труд.

Я отворил калитку и вышел на дорогу. В некоторых сельских домиках видны были признаки возвращавшейся жизни, но час работы еще не настал, и никто по дороге не пожелал мне доброго утра. Вдруг, на повороте, заслоненном густою зеленью клена, я неожиданно столкнулся с дядей Роландом.

– Сэр, это вы? и так рано? слышите, бьет пять часов?

– Да больше и нет! Находился же я с своей деревяшкой; до Л... взад и вперед будет больше четырех миль.

– Вы ходили в Л., не за делом же? И души, я чай, еще нет живой?

– О, в гостиницах всегда найдешь кого-нибудь на ногах. Конюхи никогда не спят. Я нанял пару лошадей и повозку. Я сегодня прощусь с вами, племянник.

– Ах, дядюшка, мы вас обидели! А все я с этим проклятым типом...

– Ба! отвечал живо дядя. Дитя, меня обидеть нельзя!

И он крепко пожал мою руку.

– От чего же вы вдруг решились ехать? Еще вчера, в Римском стане, вы с батюшкой сбирались в С...

– На чудака никогда полагаться не должно. Мне к ночи надо быть в Лондоне.

– А завтра приезжайте назад.

– На вряд ли, – сказал дядя, мрачно. И помолчавши немного, взял меня под руку и продолжал:

– Молодой человек, вы мне понравились. Я люблю это открытое, смелое лицо, на котором природа написала: «верьте мне.» Люблю эти светлые глаза, которые глядят в лицо прямо. Нам надо познакомиться покороче... гораздо короче. Приезжайте когда-нибудь ко мне, в древнюю башню наших предков.

– Приеду, приеду! И вы мне покажете старую башню?

– И следы прочих укреплений, воскликнул дядя, поднимая палку.

– И родословное дерево...

– Конечно; и вооружение пращура, в котором он был под Марстонмуром.

– И бронзовую дощечку в церкви, дядюшка?

– Ишь, бесенок! Подойдите-ка сюда, сэр! Смерть мне хочется разбить ему голову!

– Экая жалость, что никто не разбил головы негодного типографщика, прежде нежели он осмелился иметь нисходящих!

Капитан Роланд хотел рассердиться, но не мог.

– Ба! сказал он, остановившись и нюхая табак. – Мир мертвых велик, за чем нам мешаться с тенями?

– Мы от них никуда не уйдем, дядюшка: они всегда за нами. Нельзя думать или действовать без помощи иного человека, прежде нас жившего и указавшего дорогу. Мертвые не умирают, особенно с тех пор...

– С каких пор? Это все дело.

– С тех пор, как наш великий предок ввел книгопечатание, отвечал я величественно. – Дядя стал насвистывать: *Marlberough s'en va-t-en guerre*.

У меня не хватило духа дразнить его более.

– Мир! – сказал я, тихо входя в круг, который начертил он палкой.

– Ни за что!.. Не смей...

– Мир, дядюшка, мир! и опишите мне мою маленькую кузину, вашу прекрасную дочку. Я уверен, что она красавица.

– Мир! сказал, улыбаясь, дядя. – Сами приезжайте и судите тогда.

Глава II.

Дядя Роланд уехал. Перед отъездом он больше часу сидел, запершись в кабинете с отцом, который, потом проводил его до ворот, а мы все окружили его, когда он садился в коляску. Когда капитан уехал, я попытался узнать от отца причину неожиданного отъезда. Но отец был непроницаем во всем, что касалось до тайн его брата. Поверил ли ему дядя или нет причины гнева на сына – этот вопрос не давал мне покоя – отец все-таки был нем на этот счет и с матушкой, и со мною. Дня два или три, мистер Какстон был явно под влиянием какой-то тревоги. Он ни разу не дотронулся до большой книги, прогуливался один без книги, и разве с своей уткой. Но мало-помалу трудолюбивые привычки взяли верх, матушка очинила перья, и работа опять закипела.

Что касается до меня, то проводя дни я, в особенности, утра один, я начал думать о будущем. Неблагодарный! – Домашнее мое счастье перестало удовлетворять меня. Мне слышался издали шум большего света, и в нетерпении бродил я по берегу.

Наконец, одним вечером, отец с несколькими скромными «гм, гм!» и непритворным румянцем на прекрасном челе, прочел несколько отрывков из своего большого сочинения. Не могу пересказать того, что я почувствовал, слушая это чтение... Почтительный восторг волновал мне душу. Объем этого сочинения был так велик, выполнение требовало таких разнообразных сведений, что мне казалось, будто какой-нибудь дух открыл мне новый мир, мир, бывший всегда у меня под носом, но доселе скрытый от меня человеческой слепотой. Невероятное терпение, с которым были собраны все эти материалы, год за годом, легкость, с какою здесь они, величественною силою гения, казалось, как бы сами пришли в порядок и систему, бессознательная скромность, с которою ученый предлагал сокровища трудолюбивой жизни: – все это вместе было страшным укором моему нетерпению и самолюбию, но возбудило такое уважение к отцу, которое спасло мою гордость от мучений. Это была одна из тех книг, которые поглощают целую жизнь, подобно словарю Бэля или истории Гибона, или *Fasti Helenici*, Клинтона. Тысячи других книг нужны были только для того, чтобы резче выказать собственную оригинальность: золотые сосуды многих веков расплавились в этом горниле, и произвели новую монету в единственном отпечатке, к счастью, предмет позволял сочинителю предаваться вполне своему простодушному и ироническому характеру, спокойному, глубокому своему юмору! Сочинение моего отца было: История человеческих заблуждений, т. е. нравственная история человечества, рассказанная с той серьезной истиной, которая не исключает своего рода улыбки. Правда, иногда эта улыбка вызывала слезы. Но во всяком истинном юморе лежит его зародыш: пафос. Да, – ссылаюсь на богиню Морию, – отец в этом деле был как у себя дома! Сперва рассматривал он человека в диком состоянии, соображаясь больше с положительными рассказами путешественников, нежели с мифами древности и мечтами спекуляторов на наше первобытное состояние. Австралия и Абиссиния описаны были в своей безыскусственной простоте, такими верными красками, что можно было подумать, что отец всю жизнь провел с Бушменами и с дикими. Потом, перешел Атлантику, он представил Американского Индейца, с его благородной природой, освещенного зарей цивилизации, в то время, когда квакер Пен похитил у него прирожденные права, а Англо-Саксы опять втолкнули его в прежний мрак. Он показывал аналогии и противоположности образцов рода человеческого и других племен, равно отдаленных и от просвещения, и от дикости: Арабов – в их палатках, Тевтонов в лесах, Гренландцев на лодках, Финнов в санях на оленях. Возникали грубые божества севера, восстанавлился друидизм, переходя из веры без храмов в состояние, более испорченное: идолопоклонство. Рядом с этими верованиями являлся Сатурн Финикиян, мистический Будда Индийцев, стихийные боги Пеласгов, Найт и Серапис Египтян, Оримузд Персиян, Ваал Вавилонии и крылатые гении прекрасной Этрурии. Он объяснял, каким образом природа и жизнь

дали мысль религии?.. Каким образом религия образовала нравы? Как и вследствие каких влияний, некоторые племена созданы были для усовершенствования, между тем как другие обречены были на бездейственность или поглощение другими войною и рабством? Все эти важные вопросы объяснены были в книге отца моего с ясной и сильной точностью, будто голосом самой судьбы. Не только филолог и антикварий, но анатом и философ, отец пользовался всеми учеными разборами о различии пород. Он показывал, как смешение до известной степени улучшает породы; как все смешанные породы были одарены особенными способностями; он проследил успех и удаление Эллинов от их мистической колыбели, Фессалии, и показывал, как племена, поселившиеся на берегах морей и вынужденные вступить в торговые сношения с чужеземцами, дали Греции чудеса её искусства и литературы, эти цветы древнего мира; как другие, напр. Спартанцы, жившие преимущественно в лагерях, всегда на-стороже от соседей, сохранили свою Дорийскую чистоту происхождения, но не уделили в сокровищницу мысли, ни художников, ни поэтов, ни философов. – Взяв Кельтов, Кимиров Киммерийцев, он сравнивал Кельта, сохранившего в Валлисе, Шотландских горах, Бретани и не понятой Ирландии чистоту своей крови, и древний характер, с Кельтом, который, с кровью, смешанной на тысячу способов из Парижа предписывает обычаи миру. Он сравнил Нормана, в его Скандинавской родине, с ним же, уже чудом гражданственности и рыцарства, после его постепенного, нечувствительного слияния с Готами, Франками и Англо-Саксами. Он сравнивал Сакса, не движущегося вперед в родине Горзы, с колонизатором-просветителем земного шара, которому невозможно уже отличить различные источники пылкой своей крови (Французские, Фламандские, Датские, Шотландские, Ирландские). И из всех этих выводов, которым я сделал такую бедную и краткую оценку, у него вытекала святая истина, несущая надежду и в землю Каффра, и в хижину Бушмена, что нет ни в черном цвете кожи, ни в плоском черепе ничего такого, что бы отвергало вечный закон, что, в силу того же самого начала, которое возводит собаку, животное, в диком состоянии, низкое, на первое место после человека, – вы можете возвысить до величия и силы отверженцев человечества, заслуживающих теперь только сожаления и презрения. Когда же, оставив приготовительные рассуждения, отец доходил до сущности своей задачи, он с жадностью хватался за мудрость мудрецов; когда он рассматривал самое просвещение, его школы, портики, академии; когда обнажал нелепости, скрывавшиеся под коллегиями Египтян и Греков; когда доказывал что, в любимой науке своей, метафизике, Греки были дети, а Римляне, в практической области политики – мечтатели и скоморохи; когда, следя за ходом заблуждений в средние века, упоминал ребячество Агриппы, цинизм Кардана, и с спокойной улыбкой переходил в салоны Парижских умников XVIII века, – о! тогда ирония его была ирония Лукиана, смягченная кроткой любезностью Эразма. Даже и здесь его сатира не была напитана холодностью Мефистофелевой школы. Из этой повести лжи и заблуждений отец любил выводить светлые эры истины. Он показывал, как серьезные люди никогда не думают по-пустому, хотя их выводы и могут быть ошибки. Он доказывал, как век, сменяясь веком, составляют огромные циклы, в которых ум человеческий продолжает свой непрерывный ход, подобно океану, отступающему здесь, – там подающемуся вперед; как из умозрений Греков родилась истинная философия, из учреждений Римских – все прочные системы управлений; из выходов удали Севера – рыцарство, утонченные понятия вашего времени о чести и кроткое, примиряющее влияние женщин. Он выводил наших Сиднеев и Баярдов от Генгистов, Гензериков и Аттил. Полна любопытных анекдотов, новых пояснений и утонченнейшего знания, происходящих от вкуса, обработанного до последних пределов, книга моего отца забавляла, привлекала и восхищала. Ученость теряла свой педантизм, то в простоте Монтэня, то в проникательности Лабрюйера. Автор словно жил в том времени, о котором говорил, а время воскресло в нем. Ах! каким бы сделался он романистом, если б что?.. если б он в той же степени обладал горькой опытности в деле страстей, как пониманием склонностей человеческих. Но тот, кто хочет видеть картину берега, должен искать его отражение в реке, а не в оке-

ане. Река отражает и кривое дерево, и остановившееся стадо, и сельскую колокольню, и весь роман ландшафта, а море отражает только бесконечный очерк побережья и изменения света в небесной тверди.

Глава III.

– Можно поставить Ломбардскую улицу против померанцевого орешка¹! – сказала дядя Джак.

– Неужели так много шансов в пользу книги? Я боюсь, что вы говорите не из опытности, брат Джак! отвечал отец, прекратив чтение и нагибаясь, чтобы почесать утку под левым ухом.

– Джак Тиббетс – не Огюстин Какстон! Джак Тиббетс не ученый, не гений, не... не...

– Пойдите! воскликнул отец.

– Мистер Тиббетс не далек от истины, сказал мистер Скиль. Я не лстец, но место, где вы сравниваете череп разных пород, превосходно. Ни Лауренс, ни Доктор Причард не могли бы написать лучше. Такая книга не должна пропасть для света, и я согласен с М. Тиббетсом, что ее надобно напечатать как можно скорее.

– Писать и издать разница, сказал отец нерешительно. – Когда помотришь на всех великих людей, издававших свои сочинения, когда подумаешь, что придется смело втираться в сообщество с Аристотелем, Беконом, Локком, Гердером, со всеми глубокомысленными философами, наклоняющими к природе чело, отягченное мыслями, позволительно приостановиться, призадуматься и...

– Ба! прервал дядя Джак, наука не клуб: это океан. Он открыт для челнока, как для фрегата. Один везет груз слишком, другой идет на ловлю сельдей. Кто исчерпает море? Кто скажет мысли: бездны философии заняты!

– Славно сказано! воскликнул мистер Скиль.

– Так вы, друзья мои, сказал отец, пораженный красноречивыми доводами дяди Джака, – решительно советуете мне оставить моих пенатов, ехать в Лондон, и, так как мы собственная библиотека не удовлетворяет моим требованиям, поселиться возле Британского музея и поскорее кончить хоть одну часть.

– Этим вы обязаны перед вашим отечеством, – сказал торжественно дядя Джак.

– И перед самим собою, прибавил Скиль. Должно помогать естественным извержениям мозга... Вам смешно, сэр? – Смейтесь; но я заметил, что когда у человека слишком полна голова, он должен дать, исход мысли, иначе она давит его, и теряется равновесие всего организма. Из отвлеченного человек становится тупым. Сила давления поражает нервы, и я не отвечаю, что вы не будете поражены параличом.

– Остин! воскликнула матушка, нежно обнимая руками шею отца.

– Сознайте себя побежденными, сэр, – сказал я.

– А с тобой что будет, Систи? спросил отец. С нами что ли ты поедешь, и откажешься от университета?

– Дядя звал меня к себе, в свой замок. Покуда я останусь здесь, буду работать и смотреть за уткой.

– Один-то? сказала матушка:

– Как один? Надеюсь, Дядя Джак, по-прежнему, будет навещать меня.

Дядя Джак покачал головой.

– Нет, дитя мое, сказал он, мне должно ехать с отцом, в Лондон. Вы все, в этих делах, ничего не смыслите: я повидаюсь с книгопродавцами; я знаю, как с этими господами говорить. Нужно и литературные круги приготовить к появлению книги. Конечно с моей стороны это жертва. Журнал мой пострадает, это я знаю; но дружба и польза отечества для меня выше всего.

– Добрый Джак! сказала ласково матушка.

¹ Т. е. можно отвечать сто против одного.

– Я этого не потерплю, сказал отец. Здесь вы имеете хороший доход вы полезны себе, а что касается до книгопродавцев, то когда сочинение совсем будет готово, вы можете приехать в город на неделю и уладить дело.

– Бедный Остин! сказал дядя Джак, с чувством превосходства и сострадания – неделя! Сэр! успех книги требует целых месяцев приготовления. Я не гений, я человек практический) я знаю, что нужно. Оставьте меня в покое. – Но отец продолжал упрямитесь, и дядя наконец замолчал. Путешествие в Лондон за славой было решено, но отец не хотел и слышать, чтоб я остался.

– Нет, Пизистрату тоже надо ехать в Лондон посмотреть на свет; утка как-нибудь уж тут сама...

Глава IV.

Мы послали с вечера занять необходимое число мест – всего четыре (в том числе место для миссис Примминс) в публичной карете, под фирмой Солнца, которая была заведена издавна для удобства окрестности населения.

Это светило, восходившее в небольшом городке, милях в семи от нас, сперва описывало несколько неопределенную орбиту между окрестными деревнями, потом уже выходило на большую дорогу освещения, по которой и продолжало путь в виду смертных, с величественной быстротой шести с половиною миль в час. Отец мой с карманами, набитыми книгами и с *in quarto* Джебена «о первобытном мире» (для легкого чтения) под мышкой, мать с небольшой корзинкой, наполненной сэндвичами и бисквитами собственного печения; миссис Примминс, с новым зонтиком, купленным для этого случая, – клеткой, в которой сидела канарейка, – её любимица не столько за голос, сколько за почтенные лета, и с трубочкой, которую она успешно ее кормила, и я: все мы ждали у ворот, готовясь приветствовать небесного гостя. Садовник, с тележкой набитой ящиками и чемоданами, стоял не много поодаль; а человек, который должен был приехать, лишь только мы найдем квартиру, взобрался на пригорок, с тем, чтобы высмотреть восход ожидаемого солнца и известить нас о его появлении, посредством условленного знака носовым платком, привязанным на палке.

Старый дом наш печально глядел на нас во все свои опустевшие окна. У порога и в открытых сенях валялись остатки соломы и сена, употребленных на укладку, корзинки и ящики, осмотренные и потом оставленные за негодностью; другие, перевязанные и сложенные в кучу, которые должен был доставить человек; две служанки, которым было отказано и которые стояли на половине дороги между домом и калиткой сада, перешептываясь и усталые, как будто бы не спали они несколько недель сряду: – все давало этому зрелищу, обыкновенно спокойному и стройному, вид какого-то грустного одиночества и запустения. Как будто наш домашний гений упрекал нас в измене. Я чувствовал, что предзнаменования были не в нашу пользу, и со вздохом отвернулся от мест, которые покидал, потому что к нам уже подвигалась карета, во всем своем величии. Какой-то человек, чрезвычайно важной наружности, не смотря на жар, закутанный в теплую шинель и любивший, чтоб его называли «смотрителем,» сошел с рыжей, золотистой лошади, и учтиво объяснил нам, что осталось всего только три места, два внутри и одно снаружи, которыми мы вольны располагать; остальные были заняты еще недели за две до того, когда были получены наши требования.

Зная, что миссис Примминс была необходима моим родителям (тем более, что она когда-то жила в Лондоне и хорошо знала тамошние обычаи), я предложил ей занять наружное место, а сам решился предпринять путь пешком – давний и первобытный способ перемещения, имеющий свою приятную сторону для молодого человека, одаренного крепким сложением тела и веселым расположением духа. Уже протянувшаяся рука зрителя не дала моей матери времени противиться моему предложению, на которое батюшка изъявил свое согласие безмолвным пожатием моей руки. Дав обещание отыскать из в гостинице, близ Стрэнда, которую им хвалил мистер Скиль за особенную опрятность и спокойствие, и в последний раз махнув рукой в знак прощания с матерью, продолжавшей высовывать в окно добродушное свое лицо во все время, покуда карета не скрылась в облаке, подобно колесницам Омировых героев, я вошел в дом, уложил кое-какие необходимые вещи в котомку, некогда принадлежавшую моему деду (отцу моей матери), которую я нашел в чулане, взвалил ее на плечи и, взяв в руки здоровую палку, отправился в великий город, таким быстрым шагом, как будто путь мой лежал не дальше соседней деревни. Вот почему, часам к двенадцати я устал и проголодался; и увидав возле дороги одну из тех веселеньких гостиниц, которые принадлежат исключительно Англии, и, благодаря железным дорогам, скоро будут причислены к явлениям допотопным,

сел за стол под стриженными липами, отстегнул свою котомку и потребовал свою скромную трапезу, с достоинством человека, который в первый раз сам заказывает себе обед и платит из собственного кармана.

Между тем как я занялся ломтем свиного сала и кружкой пива, два пешехода, пришедшие по одной дороге со мной, остановились, разом взглянули на предмет моих занятий и, без сомнения, увлеченные моим примером, сели под теми же деревьями, но за другим концом стола. Я осмотрел вновь прибывших с любопытством, свойственным моему возрасту.

Старшему могло быть лет тридцать, хотя глубокие морщины и лицо, вероятно некогда цветущее, а теперь довольно бледное, обличавшее труды, заботу, или утомление от неправильной жизни, старели его на вид: наружность не говорила особенно в его пользу. В одежде его пробивалась какая-то претензия, не пристававшая к пешеходу: сюртук его был узок и подложен ватой; две огромные булавки, соединенные цепочкой, украшали крутой, атласный, голубой галстук, усеянный желтыми звездами; его руки были покрыты очень грязными перчатками, когда-то соломенного цвета и играли тростью из китового уса, с огромным набалдашником, что придавало трости вид кистени; когда он снял белую шляпу, совершенно истертую, и стал заботливо и осторожно вытирать ее правым рукавом, множество правильных кудрей разом обличило старания искусства и плоды человеческих рук. Парик его, которого нельзя было не заметить (в роде того, в коем, на простонародных картинках, изображается Георг IV, в молодости), низко спускался на лоб и поток страшно подымался на макушке; он был намазан маслом и к нему пристало немалое количество пыли, а масло и пыль в равной степени оставили следы на лбу и щеках его хозяина. Сверх этого, выражение его лица было частью нахально и беззаботно; что-то насмешливое проглядывало в углах его глаз.

Младший был, по-видимому, моих лет и разве годом или двумя меня старше – судя, впрочем, по его гибкому, мускулистому сложению, а не по ребяческому очертанию лица. Но это лицо, хотя ребяческое, не могло не обратить на себя внимание самого бесстрастного наблюдателя. Оно не только было смугло, как цыганское, но и имело характер цыганский: большие блестящие глаза, черные, как смоль, волосы, длинные и волнистые, но не кудрявые, орлиные и тонкие черты; когда юноша говорил, он показывал зубы ослепительной белизны, подобной жемчугу. Нельзя было не удивляться его замечательной красоте; но это лицо носило отпечаток хитрости и дикости, вложенных враждой с обществом в черты того племени, которое он мне напоминал. Со всем этим, в молодом страннике было и что-то такое напоминавшее джентльмена. Он был одет в плисовой охотничьей куртке или, пожалуй, коротеньком фраке, подпоясанном широким ремнем, широких белых панталонах и фуражке, которую небрежно бросил на стол, когда утирал пот с лица, – с нетерпением и даже гордостью отвернувшись от своего товарища. Он окинул меня быстрым и внимательным взглядом своих пронзительных глаз, потом растянулся на скамейке и, казалось, дремал или мечтал, покуда, вследствие приказания его спутника, стол был уставляем всеми холодными мясами, какие только были в гостинице.

– Говядина, – сказал его товарищ, вставляя лорнет в правый глаз, говядина; что это за говядина! – Ягненок; – старенок, – сыроват; – баранина... пфу!.. Пирог; – суховат. – Телятина; – нет, свинина. – Виноват! Чего вы хотите?

– Берите себе, – отвечал молодой человек, с ужимкой садясь за стол и посмотрел с презрением на поданное мясо; потом, подождавши довольно долго, он отведал и того, и другого, и третьего, подергивая плечами и с явными выражениями неудовольствия. Вдруг он поднял голову и спросил водки; и, к моему недоумению (совестно признаться), даже к моему удивлению, он выпил с полстакана этого яда, не разбавляя его ничем и с такою миной, что должно было заключить, что он привык к нему.

– Напрасно, – сказал его товарищ, придвигая к себе бутылку и в надлежащей мере смешивая алкоголь с водой. – Покровы желудка скоро истираются, если чистить их по-вашему. Лучше обратиться к искрометной пене, как говорит наш бесценный Билль. Вот этот молодой

джентльмен подает вам хороший пример. И, с этим, он обратился ко мне, фамильярно кивая мне головой. Как ни был я неопытен, однако сейчас смекнул, что он намерен познакомиться с тем, кого так приветствовал.

– Позвольте вам предложить что-нибудь? – сказал этот общительный индивидуум, описывая полукружие концом своего ножа.

– Покорно вас благодарю, сэр, я уж обедал.

– Так что ж? пуститесь в новое поприще злодейств, как говорит Авонский Лебедь, сэр²; – не хотите? Так предлагаю вам выпить со мной рюмку Канарийского. А далеко изволите идти, если смею спросить?

– В Лондон, если сумею дойти.

– О! – сказал путешественник, в то время, как товарищ его поднял на меня глаза, и я опять остался, поражен их пронзительностью и блеском.

– Лондон – самое лучшее место в мире, для молодого человека с умом. Посмотрите, что там за жизнь: «зеркало моды и первообраз формы.»³ Вы любите театр, сэр?

– Я никогда его не видал.

– Может ли это быть! – воскликнул он, опуская черенок своего ножа и горизонтально приподымая конец его: – если так, молодой человек, прибавил он торжественно, вам предстоит... но я не скажу вам, что вы увидите; не скажу, нет, даже, если бы вы могли усыпать этот стол золотыми гинейми и воскликнуть с благородным жаром, который так увлекателен в молодости: «мистер Пикок, все это ваше, если вы только скажете мне, что мне предстоит увидеть!»

Я расхохотался во все горло – да простят мне это самохвальство, но еще в школе я был известен за мой громкий и непринужденный смех. При этих звуках, лицо молодого человека помрачилось; он оттолкнул тарелку и вдохнул.

– А вот мой товарищ, – продолжал его приятель, – а вот мой товарищ, который, я думаю, вам ровесник, мог бы сказать вам, что такое театр, и что такое жизнь. Он видел городское обращение, он взглянул на торгашей, как поэтически замечает лебедь. Не так ли, приятель, а?

Юноша взглянул на него с презрительной улыбкой.

– Да, я знаю что такое жизнь, и говорю, что в жизни, как в бедности, мало ли с кем случается сблизаться. Спросите у меня теперь, что такое жизнь, – я скажу вам: мелодрама; спросите у меня тоже самое, через двадцать лет, и я скажу...

– Фарс, – прервал его товарищ.

– Нет, трагедия, или комедия, как писал Мольер.

– Как это? – спросил я, заинтересованный и даже удивленный тоном моего ровесника.

– Комедия... У моего приятеля так вот нет шансов!

– Это похвала сэру Губерту Стэнлэй... гм... да... гм... Пикок может быть умен, но он не плут.

– Это не совсем мое мнение, – сказал сухо юноша.

– Шиш за ваше мнение, как говорят Лебедь. – Эй вы, сэр, хозяин! уберите со стола, да дайте вам чистых стаканов, горячей воды, сахару, лимону, да бутылочку! Курите, сэр! – И мистер Пикок предложил мне сигару.

Я отказался, а он осторожно свернул какой-то далеко не заманчивый образчик апокрифического Гаванского произрастания, намочил его весь, наподобие того, как поступает боа-констриктор с быком, которого собирается проглотить, откусил один конец, зажег другой определенной на это машинкой, вынутой им из кармана, и скоро весь предался страшному усилию отравить окружающую атмосферу. Тогда молодой человек, из соревнования, или по чувству самосохранения, вынул из кармана красивую, бархатную сигарочницу, вышитую, вероятно,

² Шекспир, Генрих V, действие IV.

³ Шекспир: Ibidem.

какой-нибудь хорошенькой ручкой; потому что на ней можно было ясно разобрать слова: «от Джульетты», и выбрал сигару с виду лучшую той, которая занимала его товарища: казалось, он также привык обходиться с табаком, как с водкой.

– Вот человек, сэра, – говорил мистер Пикок, прерывая речь усилиями отчаянной борьбы с своей незавидной жертвой – ему непременно (пуф, пуф) нужно... (пуф, пуф) настоящие силва. Фу ты пропасть! опять погасла!⁴ – И мистер Пикок опять принялся за свою фосфорную машинку. Ни этот раз его терпение и настойчивость увенчались успехом, и середина сигарки ответила скромною, красною искрою (стороны же остались неприкосновенны) на неусыпные старания её поклонника.

Совершив этот подвиг, мистер Пикок торжественно произнес:

– Ну, детки, что Вы теперь скажете о картах? Нас трое... вист... с болваном... ничего не может быть лучше... а?

Он вытащил из кармана сюртука красный, шелковый платок, связку ключей, колпак, зубную щетку, кусок мыла для бритья, четыре куска сахара, бритву и колоду карт. Отложив последнее, и повергнув остальной хлам в бездну, из которого тот возник, он указательным и большим пальцем, оборотил трефового валета и, положив его сверху, важно разложил карты по столу.

– Вы очень любезны, но не умею играть в вист, сказал я.

– Не играете в вист, не были, в театре, не курите! Сделайте одолжение, молодой человек (сказал он величественно и хмурясь), что же вы умеете, что вы знаете?

Пораженный этой выходкой и устыдясь моего совершенного неведения в том, что мистер Пикок считал первым основанием знания, я наклонил голову и опустил глаза.

– Это хорошо, – продолжал мистер Пикок, ласковее прежнего: – в вас есть невинный стыд молодости. Это подает надежды на будущее. «Смирение есть лестница его молодого честолюбия,» говорит Лебедь. Взойдите на первую ступень и познаете вист, – «с начала по шести пенсов очко.

Не смотря на мою неопытность в деле практической жизни, я имел счастье узнать кое-что об открывавшемся передо мной поприще из руководителей, столько раз оклеветанных, которые зовут романами, или повестями, – сочинения, в отношении к внутреннему миру, имеющие значение географических карт для внешнего. Мне внезапно пришло на ум несколько воспоминаний из Жиль-Блаза и Векфильдского Священника. Я не имел желания идти по стопам достойного Моисея и чувствовал, что в сношениях с этим новым мистером Дженкинсоном, я даже не мог бы похвалиться шагреновыми очками. Потому, покачав головой, я спросил счет. Когда я вынул кошелек, связанный мне моею матерью, содержавший одну золотую и несколько серебряных монет, я заметил, что глаза мистера Пикоча засверкали.

– Не хорошо, сэра! не хорошо, молодой человек! «Скупость запала глубоко.» Прекрасно выразился Лебедь. Кто ничем не рискует, тот ничего не выигрывает!

– У кого нет ничего, тому и рисковать не чем, – отвечал я, его же словами.

– Как нет ничего? – Молодой человек, разве вы сомневаетесь в моей состоятельности, в моем капитале, в моем золоте?

– Я говорил о себе, сэра. Я не доволен богат, чтобы играть с вами на деньги.

– Что вы этим хотите сказать, сэра? – воскликнул мистер Пикок, в добродетельном негодовании. – Вы меня оскорбляете.

И он грозно встал и надвинул свою белую шляпу на парик.

– Оставьте его, Галь, – сказал презрительно юноша. – Если он дерзок, ударьте его. (Это относилось ко мне.)

⁴ В подлиннике сказано: the jaws of darkness have devoured it up. (Шекспир: Сон в Летнюю Ночь).

– Дерзок! ударить! – воскликнул мистер Пеков, ужасно покраснев! Но заметив улыбку на губах товарища, он сел и погрузился в молчание.

Я заплатил деньги по счету, и когда, исполнив эту обязанность, которая редко доставляет удовольствие, хватился моей дорожной котомки, то увидел, что она была в руках молодого человека. Он хладнокровно читал адрес, который я на всякий случай прилепил к ней: Пизистратус Какстон, Эск., в N. гостинице, N. улице, близ Стрэнда.

Я взял у него котомку. Такое нарушение законов приличия, со стороны молодого джентльмена, хорошо знавшего жизнь, поразило меня более, нежели уязвил бы меня подобный поступок от мистера Пикока. Он не извинился, но кивнул мне головой, как бы желая проститься, и растянулся по лавке во всю свою длину. Мастер Пикок, углубившийся в раскладывание пасьянса, даже не ответил на мой прощальный привет, и на следующее мгновение я был один на большой дороге. Мысли мои долго обращались к молодому человеку, сожалея о будущности, предстоящей человеку с его привычками в подобном обществе, я невольно удивлялся не столько его красивой наружности, сколько развязности, смелости и беззаботному влиянию над товарищем, много старшим.

Было довольно поздно, когда я увидел перед собою колокольню города, в котором решил переночевать. Рог нагонявшей меня кареты заставил меня обернуться, и в то время, когда карета проезжала мимо меня, я увидел на наружном месте мистера Пикока, все еще боровшегося с сигарой, едва ли не тою же самой, и его молодого приятеля, который, развалившись на империале посреди поклажи, склонился на руку прекрасной головой, и, вероятно, не замечал ни меня, ничего другого.

Глава V.

Я могу, судя может быть через-чур лично, т. е. по собственному опыту, определить данные молодого человека на то, что зовут практическим успехом в жизни, по двум, на первый взгляд, весьма обыкновенным его способностям: любопытству и необычайной живости известного рода. Любопытство, которое торопится узнать все, что для него новое, и нервная деятельность, близкая к беспокойству, которое редко позволяет телесной усталости стать между человеком и целью этих двух свойств, по-моему, достаточны, чтобы пуститься в свет.

Как ни устал я, но совершив омовение и, в столовой гостиницы, где я остановился, освежившись обыкновенным напитком пешехода, простым и нередко оклеиваемым, чаем, я не мог противиться искушению широкой, шумной улицы, освещенной гасом и видневшейся сквозь тусклые окна столовой. Я прежде никогда не видывал большого города, и противоположность между светлой деятельной ночью улицы и скромной, безжизненной ночью деревень и полей сильно меня поразила.

Поэтому я выскочил на улицу и прыгая, и смеясь, то глазел в окна, то как будто спешил по течению жизни, покуда очутился у трактира, около которого толпилась небольшая кучка женщин, граждан, и голодных, по-видимому, детей. В то время, как я рассматривал толпу и удивлялся, почему главная забота большинства земного населения о том, как, когда и где поесть, слух мой был поражен слелующими словами:

– Действие происходит в Трое, говорит знаменитый Билль.

Оглянувшись, я увидел мистера Пикока, указывавшего тростью во отворенный, рядом с трактиром, крытый ход, освещенный гасом я над дверью которого, на оконном стекле, было написано черными буквами: «Биллиарды». Присоединяя действие к слову, Пикок разом вошел в отворенную дверь и исчез. Юноша-товарищ следовал за ним лениво, как вдруг заметил меня. Легкий румянец выбежал на его темные щеки; он остановился и опираясь о дверь, долго и как-то странно смотрел на меня, прежде нежели сказал:

– Вот мы и опять встретились, сэр! Не сладко вам, я думаю, проводить время в этом месте: ночи длинны вне Лондона.

– О, отвечал я простодушно, – меня все здесь тешит: освещение, лавки, давка; потому что все это для меня новость.

Юноша оставил свое место и, как бы приглашая меня следовать за вами, стал, с выражением какой-то горькой насмешки, хотя в словах его просвечивала будто грусть:

– Одно, не может быть ново для нас, – старая истина, которую мы знали прежде даже, нежели отняли у нас кормилицу: все, что имеет какую-нибудь цену, должно быть куплено; *ergo*, кто купить ничего не может, у того ничего и не будет.

– Не думаю, сказал я, чтобы все лучшие вещи можно нам купить. Посмотрите на этого бедняка, худого, больного ювелира, что стоит перед своей лавкой: его лавка лучшая на этой улице, – а я уверен, что он с радостью отдал бы ее всю вам, или мне, за наше здоровье и крепкие ноги. Нет! я скорее соглашусь с моим отцом: лучшее в жизни дано всем, т. е. природа и труд.

– Это говорит ваш отец, и вы за ним! Впрочем, все отцы проповедуют и это и другие мудрые истины; но не вижу я, чтобы отцы часто находили в сыновьях доверчивых слушателей.

– Тем хуже для сыновей! – сказал я решительно.

– Природа, – продолжал мой собеседник, не обращая внимания на мое восклицание, – природа действительно дает нам много и учит каждого из нас, как употреблять её дары. Если природа вложила в вас склонность к лошадиному труду, вы будете трудиться, как лошадь; если она вложила в меня побуждение к возвышению, самолюбие что ли, и отвращение от труда, я могу идти в гору, но работать верно не буду.

– Стало, вы согласны с Скилем, сказал я, – и верите тому, что нами руководят шишки нашего черепа?

– Да, и кровь наших жил, и молоко матери. Мы наследуем все, наравне с подагрой и чахоткой. Так вы всегда делаете то, что говорит вам отец... Вы добрый мальчик!

Я был обижен. Никогда не мог я понять, отчего бывает человеку стыдно, когда его хвалят за доброту: но тогда я был недоволен. Однако я резко отвечал:

– Если б у вас был такой отец, как у меня, вам бы не показалось неестественным поступать по его словам.

– А, так у вас хороший отец? И велико должно быть его доверие в вашу умеренность и бесстрашие, что позволяет он вам одним шататься по свету?

– Я иду в Лондон, вслед за ним.

– В Лондон? Так он в Лондоне?

– Да, он проживет там несколько времени.

– Стало, мы еще, может быть, встретимся. Я тоже еду в Лондон.

– Ну, так, наверное, встретимся? – сказал я с непритворною радостью, потому что участие мое к молодому человеку не уменьшилось от его слов, как ни мало нравились мне чувства, ими выраженные.

Он улыбнулся, и каким-то странным образом. Смех его был тих и музыкален, но как будто принужден.

– Встретимся? Лондон не деревня: где же мне вас найти!

Я, не колеблясь, сказал ему адрес гостиницы, где надеялся найти моего отца; хотя из самовольного осмотра, сделанного им моей котомке, он, без сомнения, уже знал его. Он внимательно выслушал меня, два раза повторил сказанное мною, чтобы, не забыть; мы шли оба молча, поворотив узким переулком, и вдруг очутились на просторном погосте, по которому диагональю бежала тропинка к рынку, с погостом граничившему. На одной из надгробных плит сидел Савояр, держа на коленях свой инструмент (не знаю право, как назвать его); он глодал корку и кормил ею же белых мышек, стоявших перед ним на задних лапках. Савояр был также беззаботен, как если бы сидел в самом веселом месте земного шара.

Мы оба остановились. Мальчик, увидав нас, склонил на сторону свою полную жизни, головку, показал свои белые зубы, в минуту счастливой улыбки, столько свойственной его племени, так весело просящего милостыни, – и раз повернул ручку своего инструмента.

– Бедный ребенок! сказал я.

– Вам жалко его? От чего же? по-вашему же правилу, М. Какстон, он совсем не так жалок; больной ювелир столько же даст за его здоровье и молодость, сколько за наши! Скажите мне, сын мудрого отца, отчего никто не жалеет бедного, больного ювелира, а всякому жалко здорового Савояра? – Это потому, сэр, – то есть грустная истина, преодолевающая все Спартанские нравоучения, – что бедность наибольшее зло. Оглянитесь. Где память по бедности на могилах? Посмотрите же не этот большой памятник, с оградой кругом; прочтите длинную надпись: добродетели, примерный супруг, нежно любимый отец, – безутешное горе, – покоятся в радостной надежде, и т. д. и т. д. А эти могилы без камней? Неужели думаете вы, что они не скрывают праха справедливого или доброго человека? А никакая эпитафия не исчисляет его добродетелей, не описывает скорби супруг, не обещает им радостных надежд.

– Что ж из этого? Богу нет дела до надгробных надписей.

– *Date my qualche cosa*, сказал Савояр на своем трогательном наречии, все улыбаясь и протягивая маленькую руку, в которую я бросил незначительную монету. Мальчик выразил свою благодарность новым поворотом ручки инструмента.

– Это не труд, – сказал мой спутник, – и если бы вы нашли его за работой, то не дали бы ему ничего. У меня есть и инструмент, на котором я играю, и мыши, о которых должен заботиться. До свидания!

Он махнул рукой и побежал по могилам в то направление, откуда мы пришли.

Я остановился перед прекрасной могилой с прекрасной надписью. Савояр внимательно смотрел на меня.

Глава VI.

Савояр внимательно смотрел на меня. Мне хотелось вступить с ним в разговор. Это было не легко. Однако же, я начал:

Пизистрат. Вы должно быть часто бываете голодны, мой бедный мальчик. Мыши верно вас не прокормят?

Савояр надевает шляпу на бок, качает головой и ласкает мышей.

Пизистрат. Вы очень их любите: я думаю, они ваши единственные друзья.

Савояр, видимо понимая Пизистрата, тихо трет свое лицо о мышей, потом тихо кладет их на плиту и начинает опять вертеть; мыши беспечно играют на плите.

Пизистрат, показывая сначала на мышей, потом на инструмент: Кого вы любите больше, мышей или это?

Савояр показывает зубы, смотрит в глаза, растягивается по траве, играет с мышами и бегло отвечает.

Пизистрат, при помощи Латыни понимая, что Савояр говорит, что мыши живые, а инструмент не живой: – Да, живой друг лучше мертвого. *Mortus est hurda-gurda!*

Савояр быстро подымает голову. – No, no, *esselenza, non e morta!* и начинает играть живую арию на осмеянном инструменте. Лице Савояра воодушевляется: он счастлив; мыши с плиты бегут к нему за пазуху.

Пизистрат, тронутый (по-Латыни): Есть у вас отец?

Савояр, отворачиваясь. No, *esselenza*; потом, помолчав говорит: *si, si*, и играет какую-то торжественную арию, останавливается и, положив одну руку на инструмент, другую подымает к небу.

Пизистрат понимает. – Отец, подобно инструменту, в одно время и умер и жив. Самая форма мертвая вещь, но музыка живет. Пизистрат бросает на землю другую серебряную монету и уходит. Бог тебе помощь, Савояр! спасибо тебе! Ты сделал много добра для Пизистрата, ты дал славный урок черствой мудрости молодого джентльмена в бархатной куртке; лучше его поступил Пизистрат, что остался послушать тебя.

У выхода с погоста я оглянулся: Савояр сидел по-прежнему между могил, под Божьим небом. Он также пристально смотрел на меня, и когда наши взоры встретились, прижал руку к сердцу и улыбнулся. Бог тебе помощь, бедный Савояр!

Часть четвертая.

Глава I.

Когда я на следующее утро вышел из моей комнаты трактирный слуга, сердцем которого я завладел лишними шестью пенсами, данными ему для того, чтобы он меня разбудил вовремя, услужливо известил меня, что могу сократить свое путешествие на целую милю и, вместе с этим, насладиться приятной прогулкой, если пройду по тропинке через парк одного джентльмена, который узнаю по сторожке у входа и увижу милях в семи от города.

– Вам покажут и сад, если вы вздумаете посмотреть его, – сказал слуга. – Только не ходите к садовнику: он захочет взять с вас полкроны; там есть старуха, которая покажет вам все, что стоит смотреть, – аллеи, большой каскад, за какие-нибудь пустяки; спросите ее от моего имени, – прибавил он с гордостью, – скажите Боб, что служит в гостинице Льва. Она моя тетка, и всегда уж старается угодить, коли кто придет от меня.

Не сомневаясь в том, что только доброжелательство вызвало эти советы, я поблагодарил за них моего толстоголового приятеля, и, на всякий случай, спросил, кому принадлежит парк.

– Мистеру Тривениону, известному члену Парламента, отвечал слуга. – Вы верно слышали об нем, сэр.

Я покачал головой, с каждым часом более и более удивляясь тому как еще в ней было мало.

– В гостинице Ягненка есть «Журнал умеренного человека,» и там говорят, что он один из самых умных в Нижней Палате, – продолжал слуга шепотом. Но мы подписываемся на «Грозу Народа» и лучше знаем этого мистера Тривениона: он так... вертушка... молоко с водой, – не оратор... не настоящее дело, – понимаете?

Совершенно убежденный, что я из всего этого ничего не понял, я улыбнулся и сказал: – разумеется! и, вскинув на плечо котомку, опять пустился в дорогу, между тем как слуга кричал мне вслед:

– Смотрите, сэр, не забудьте же сказать тетушке, что вас прислал я.

Город едва оказывал слабые признаки возвращения к жизни, когда я проходил по улицам. На лице ленивого Феба бледное, болезненное выражение сменило лихорадочный, чахоточный румянец вчерашнего вечера; мастеровые, которые мне попадались, скользили мимо меня, истощенные и будто измученные; немногие ранние лавки были отворены; человека два пьяных вывалились из переулков и тащились домой с разбитыми трубками в зубах; объявления, большими своими буквами, просившие о внимании к «Лучшим фамильным чаям по 4 шиллинга за фунт», «Прибывшему каравану диких зверей мистера Сломена» и «Парацельсиевым пилюлям бессмертия,» какого-то доктора, – печально торчали на стенах пустых, развалившихся домов, скудно-освещенные восходом туманного солнца, которое мало содействовало очарованию. Я был очень доволен, когда оставил за собою город, увидел жнецов на полях и услышал щебетанье птиц. Я пришел к сторожке, о которой говорил слуга: то был домик в деревенском вкусе, полузакрытый деревьями и кустарником, с двумя большими чугунными воротами для приятелей хозяина и маленькой калиткой для прохожих, вследствие странной небрежности хозяина и невнимания местных властей, сохранивших право проходить через владения богача и любоваться их великолепием – ограничиваясь исполнением просьбы, прописанной на дощечке: ходить по дорожкам. Не было и восьми часов; времени я имел довольно: вот почему, пользуясь экономическим внушением трактирного слуги, я вошел в сторожку и спросил старую даму, тетку мистера Боб. Молодая женщина, занятая приготовлением завтрака, отвечала на мое требование учтивым поклоном, и, подбежав к груде платья, которую

тогда только я увидел в одном из углов комнаты, громко сказала: – Бабушка, этот джентльмен хочет посмотреть на водопад.

Груда платья зашевелилась и, повернувшись, обличила человеческий образ, озарившийся особенным выражением в ту минуту, когда внучка, обратившись ко мне, простодушно сказала:

– Стара она, голубушка, а все еще любит нажить себе шесть пенсов! – И, взявши в руку костыль, между тем как внучка надевала ей хорошенькую шляпу, эта промышленная дама выступила шагом, бодрость которого меня поразила.

Я покушался вступить в разговор с моей путеводительницей, но она казалась мало склонна к общительности, а красота долин и роц, которые открывались передо мной, без труда склоняла меня к молчанию.

Много разных местностей видел я с тех пор, но не нашел ландшафта красивее того, что тогда раскидывался передо мною с его чисто-Английским характером. В нем не было ни одного из феодальных признаков старинных парков: ни огромных дубов, ни фантастически-остриженных деревьев, ни оврагов, поросших папоротником, ни оленей, собравшихся на скатах; напротив того, все это, за исключением разве нескольких прекрасных деревьев, всего более берез, производило впечатление новой, искусственной местности. Возвышения на траве показывали, что здесь некогда были ограды, теперь уничтоженные; луга были заново разделены мелкими железными решетками; молодые деревья, размещенные с удивительным вкусом, но без достопочтенной правильности аллей и не в шахматном порядке (по которым познаются парки, ведущие свое происхождение от времен Елизаветы или Иакова), разнообразили огромное пространство зелени; вместо оленей паслись быки и коровы, с короткими рогами, самых лучших пород, и овцы, которые непременно бы заслужили приз на сельскохозяйственной выставке. На каждом шагу встречались явные доказательства улучшения, энергии, достатка, богатства; но издержки явно были сделаны не с одной целью прибыли. Мысль о красоте видимо преобладала над мыслью о выгоде; или, точнее, хозяин согласен был извлечь все возможное из своей земли, а не из своих денег.

Но упорное желание старухи заработать шесть пенсов привело меня к неблагоприятному заключению о характере хозяина.

– Здесь, думал я, – все признаки богатства, а этой бедной женщине, живущей на пороге роскоши, недостает шести пенсов.

Эти предположения, в которых я видел доказательство моей сметливости, были доведены до степени убеждения теми немногими изречениями, которые я наконец успел вырвать у старухи.

– Мистер Тривенион должен быть богатый человек, сказал я.

– Довольно-богатый, – проворчала моя путеводительница.

– И ему нужно много рук здесь? Работы довольно? – сказал я, оглядывая огромное пространство, засаженное молодым кустарником и покрытое грядами и клумбами, по которому вилась наша дорога, то выдаваясь в луга и овраги и обсаженная редкими садовыми деревьями, то (ибо всякая неровность почвы была обращена в пользу красоты ландшафта) спускаясь в долины, то взбираясь по пригоркам, то направляя зрение к какому-нибудь произведению изящного искусства или очаровательницы-природы.

– Да, конечно! Кто ж говорит, что он не найдет работы для тех, кому она нужна. Да имение-то уж не то теперь, что было в мое время.

– Так оно прежде было в других руках?

– Как же! Оно еще за мою память принадлежало Гогтонам... вот были господа! Мой муж был тогда садовником – не то что нынешние щеголи – джентльмены, которые и за заступ-то взяться не умеют!

Бедная старушка!

Я начинал ненавидеть неизвестного владельца. Ясно было, что, купив имение прежнего простого и гостеприимного семейства, он оставлял в небрежении старых слуг, предоставив им снискивать себе пропитание показыванием водопадов.

– Вот и вода! Куда хороша! Не то было в мое время, – сказала моя спутница.

Вдруг неожиданно открылся взорам ручей, журчание которого слышалось еще издали, и довершил прелесть картины. Когда, погрузившись опять в молчание, мы пошли по его течению, под навесом каштанов и тенистых лип, на противоположной стороне открылся нам дом самого владельца: новое, современное здание из белого камня, с прекрасным Коринфским портиком, которому подобного мне никогда не приходилось видеть в этой стороне.

– А славный дом! сказал я. – Долго живет здесь мистер Тривенион?

– Он-то почти никогда не выезжает отсюда, да все оно не то, что было в мое время: Гогтоны жилали здесь круглый год; только в теплом доме, не в этом.

Добрая старушка, и вы, бедные изгнанники, Гогтоны! подумал я. Проклятый выскочка! Я был доволен, когда поворот в кустах скрыл от нас дом, хотя мы, на самом деле, подходили к нему ближе. И я увидел хваленый каскад, чей рев слышался мне уже несколько минут.

В Альпах подобный водопад показался бы ничтожным, но в противоположности с тщательно-обработанной почвой и при отсутствии других резких черт природы, он производил впечатление разительное и даже величественное. Берега сходились здесь ближе: скалы, частью природные, частью, без сомнения, искусственные, придавали им дикий вид; каскад падал с значительной вышины в быстротекущие воды, по выражению моей спутницы, смертельно-глубокие.

– В прошлом Июне минуло два года с того дня как какой-то сумасшедший перепрыгнул на ту сторону, вот с этого места, где вы теперь стоите, – сказала старуха.

– Сумасшедший! отчего же? – сказал я, оглянув узкое расстояние между двух краев пропасти глазом, привыкшим к гимнастике еще в институте. – Не надо быть сумасшедшим для этого, мой добрая леда, – сказал я.

И, с этими словами, по одному из тех порывов, которые было бы неуместно приписывать благородному чувству храбрости, я отступил на несколько шагов и перескочил через пропасть. Но когда с другого берега я оглянулся и увидел, что промах был бы моей смертью, у меня закружилась голова, и я почувствовал, что перепрыгнуть назад не решился бы даже и с тем, чтобы сделаться владельцем всего имения.

– Как же я теперь вернусь? – спросил я отчаянным голосом у старухи, которая в недоумении глядела за меня с противоположного берега. – А, вижу, вижу: внизу мост!

– Да пройти-то нельзя через мост: у моста калитка, а барин держит ключ при себе. Вы теперь в той части сада, куда чужих не пускают. Беда! – Сквайр ужасно будет сердиться, если узнает. Вам надо воротиться, а вас увидят из дому. Господи, Господи! Что я стану делать? А нельзя вам перепрыгнуть опять?

Тронутый этими жалостными восклицаниями и не желая подвергнуть старушку гневу её господина, я решился собраться с духом и опять перескочить через опасную пропасть.

– Хорошо, не бойтесь, – сказал я ей. – Что было сделано раз, то должно сделаться и два раза, когда необходимо. Посторонитесь!

И я отступил несколько шагов: почва была слишком неровна, и разбежаться перед скачком не позволяла. Сердце мое билось об ребра, и я понял, что порыв производит чудеса там, где приготовления не ведут ровно ни к чему.

– Пожалуйста поскорее! – сказала старуха.

Гадкая старуха! Я начинал меньше уважать ее. Я стиснул зубы и готов был прыгнуть, когда сзади меня кто-то сказал:

– Подождите, молодой человек, я вас пропущу через калитку.

Я обернулся и увидел возле себя (удивительно только, что я не видел его прежде) человека, чье простое, однако не рабочее платье, по-видимому, обличало главного садовника, о котором говорила моя спутница. Он сидел на камне под каштановым деревом; у ног его лежала отвратительная собака, которая заворчала на меня, когда я обернулся.

- Спасибо, приятель! – сказал я с радостью. – Признаюсь откровенно, я боялся скачка.
- Как же вы говорили, что то, что было сделано один раз, может быть сделано и два раза.
- Я не говорил *может*, а *должно* быть сделано.
- Гм! Вот эдак будет лучше!

Он встал; собака подошла, понюхала мои ноги и, словно убедившись, что я человек заслуживающий уважения, замотала концом хвоста.

Я посмотрел на ту сторону, на старуху, и к моему удивлению, увидел, что она убежала назад, как только могла скорее.

– Знаете ли, – сказал я смеясь, – бедная старушка боится, чтобы вы не сказали барину: – вы, ведь, старший садовник, должно быть? Но я один виноват. Вы так и скажите, если станете рассказывать! – Я вынул полкроны и подал ее моему новому путеводителю.

Он отказался от денег, прибавив тихо: – гм, не дурно! потом, громко: – Вам не зачем подкупать меня, молодой человек: я все видел.

- Я боюсь, ваш барин очень крут с старыми слугами бедных Гогтонов.
- Будто? Да, так барин-то. То есть – вы полагаете – мистер Тривенион.
- Да.

– Это, в самом деле, говорят. Вот дорога. – И он повел меня от водопада вниз по узкому оврагу.

Нет человека, который бы не заметил, что избежав большой опасности, удивительно ободряешься духом и приходишь в состояние приятного веселия. Так было и со мной: я говорил с садовником совершенно-откровенно и не догадывался, что его односложные ответы все вели к тому, чтобы выведать от меня короткую повесть о моем путешествии, учении у доктора Германа и большой книге моего отца. Только тогда заметил я возникшую между нами короткость, когда, обошел извилистую дорожку, мы опять подошли к речке и остановились у железной двери, вделанной в свод, сложенный из обломков скал, и мой товарищ сказал очень просто: – а имя ваше, молодой человек? – как ваше имя?

Я сначала поколебался, но слышав, что об этом обыкновенно спрашивают у посетителей, любопытствующих видеть какие бы то ни было достопримечательности, отвечал:

– Мое имя очень почтенное, в особенности если ваш барин охотник до книг, мое имя: Какстон.

- Какстон, воскликнул садовник с живостью, – в Кумберланде есть эта фамилия.
- Это наше семейство, и мой дядя Роланд его глава.
- А вы сын Огюстена Какстона?
- Да. Так вы слыхали о бабушке?

– Теперь мы не пройдем через калитку: ступайте за мной. – И, круто поворотив, он пошел по узкой тропинке; прежде чем я мог опомниться от удивления, ярдах во сто перед нами вдруг открылся дом.

– Извините меня, – сказал я, – да куда же мы идем, любезный друг?

– Любезный друг, любезный друг! Это хорошо сказано, сэр. Вы идете к добрым друзьям. Я был в школе с вашим отцом. Я даже несколько знал вашего дядюшку. Мое имя Тривенион.

В ту минуту, когда мой проводник сказал мне свое имя, я был смущен от непростительной ошибки. Небольшое, ничего не выражавшее лицо вдруг облеклось в моих глазах достоинством; простое платье, толстого, темного сукна преобразилось в обыкновенное и приличное *déshabillé* деревенского джентльмена, в пределах его владений. Даже гадкая собака обратилась в Шотландского терьера самой редкой породы.

Проводник добродушно посмеялся моему недоумению, и, потрепав меня по плечу, сказал:

– Вам надо извиняться перед садовником, а не передо мною. Он очень красивый малый, футов шести ростом.

Я не мог выговорить ни одного слова, покуда мы поднимались по широким ступеням портика, и прошли через большие сени, уставленные статуями и померанцевыми деревьями; мой спутник, вступив в небольшую комнату украшенную картинами и где все было приготовлено к завтраку, сказал дам, сидевшей за самоваром: – Милая Эллинор, представляю вам сына нашего старого друга, Огюстена Какстон. Удержите его здесь, на сколько ему это будет возможно. Поверьте, молодой человек, что вы видите в леди Эллинор Тривенион особу, – с которой вы должны быть хорошо знакомы: семейная дружба должна быть наследственна!

Мистер Тривенион произнес эти слова с особенным выражением и потом, взглянув на большой мешок, лежавший на столе, вытащил из него кипу писем и газет, опустился в кресла и, казалось, совершенно позабыл о моем существовании.

Дама на минуту пришла в недоумение: я заметил, что она несколько раз переменялась в цвете лица, переходя от бледного к красному и от красного к бледному, прежде нежели подошла ко мне с очаровательной прелестью непритворной ласки, взяла меня за руку, усадила возле себя и так радушно стала расспрашивать меня об отце, дяде и обо всем моем семействе, что через пять минут я был как у себя дома. Леди Эллинор слушала с улыбкой (хотя и с влажными глазами, которые, по временам утирала) простодушные подробности моего рассказа. Наконец она сказала:

– Вы никогда не слыхали от батюшки обо мне... то есть о Тривенионах?

– Никогда, – отвечал я, – да это бы и очень меня удивило; к тому же мой отец, как вы и сами знаете, не разговорчив.

– Будто бы! Когда я знала его, он был, напротив, преживой и преразговорчивый! – Она отвернулась и вздохнула.

В эту минуту вошла молодая леди, свежая, цветущая и милая: у меня в голове не осталось ни одной мысли! Леди вошла, распевая как птичка; моему очаровательному взору казалось, что она родилась на небе.

– Фанни, – сказала леди Эллинор, – дай руку мистеру Какстон, сыну человека, которого я не видала с тех пор, когда еще была немногим старше тебя, во которого помню, как будто его видела только вчера.

Мисс Фанни покраснела, улыбнулась и подала мне руку с непринужденностью, которой я напрасно старался подражать. Во время завтрака, мистер Тривенион продолжал читать письма и просматривал бумаги, иногда восклицая: – «Гм! Все вздор!» и бессознательно глотая между тем чай или небольшие куски поджаренного хлеба. Потом, с быстротой свойственной всем его движениям, он встал и на минуту погрузился в размышление. Он снял шляпу с широкими полями, покрывавшую его брови: первое отрывистое движение и последовавшая за ним неподвижность обратили на себя мое любопытное внимание, и я еще более стыдился моей ошибки. Лицо его, истощенное заботой, пылкое, но в то же время задумчивое, впалые глаза и глубоко-резанные черты принадлежали одной из тех натур, одаренных достоинством и нежностью, при помощи того умственного образования, которым отличается истинный аристократ, т. е. человек от рождения острый и умный, прекрасно воспитанный. Это лицо в молодости могло быт хорошо, потому что все черты, хотя и мелкие, были удивительно определены, – лоб, отчасти лысый, был породист и высок, а в очертании губ пробивалась почти женская нежность. Выражение всего лица было повелительно, но грустно. Нередко, сделавшись уже опытнее в делах жизни, мне казалось, что на этом челе я читаю повесть могучего честолюбия, подчиненного философии и строгой совести; но в то время я прочел на нем только какую-то недовольную грусть, которая, не знаю почему, опечалила меня.

Тривенион опять подошел к столу, собрал свои письма и скрылся в двери.

Глаза жены нежно следили за ним. Эти глаза напоминали мне глаза моей матери, вероятно подобно всем глазам, выразившим привязанность. Я подвинулся к ней, и мне захотелось пожать её белую руку, которая небрежно лежала передо мной.

– Хотите пройтись с нами? – сказала мисс Тривенион, обращаясь ко мне.

Я поклонился, и через несколько минут очутился в комнате один. Покуда дамы отправились за своими шляпами и шальями, я, от нечего делать, взял газеты, которые мистер Тривенион оставил на столе. Мне бросилось в глаза его собственное имя: оно встречалось часто, и во всех газетах. В одной его бранили, в другой хвалили без меры; но одна статья той из газет, которая, по-видимому, хотела показаться беспристрастной, поразила меня и осталась у меня в памяти. Я уверен, что все еще сумею передать её содержание, хоть и не слово в слово. Помните, тут было что-то в роде следующего:

«При настоящем положении партий, наши современники естественно посвятили много места достоинствам и недостаткам мистера Тривенион. Несомненно, что это имя стоит высоко в Нижней Палате; но несомненно и то, что оно возбуждает мало сочувствия в народе. Мистер Тривенион по преимуществу восторженный *член Парламента*. Он скор и точен в дебатах; он удивительно говорит в комитетах. Хотя он никогда не был на службе, продолжительный опыт в деле общественной жизни, его сердечное внимание к общественным делам, дают ему почетное место между теми практическими государственными людьми, из которых выбираются министры. Он – человек с незапятнанной славой и благонамеренный, – в этом нет сомнения; и в нем всякий кабинет имел бы члена честного и полезного. Вот все, что можно сказать в похвалу ему. Как оратору, ему недостает того огня, которым снискивается сочувствие народа. Его слушают в Палате, но сердце народа не лежит к нему. Оракул вопроса второстепенной важности, он, сравнительно, мелок в политике. Он никогда искренно не придерживается никакой партии, никогда не обнимает вопроса вполне и не сродняется с ним. Умеренность, которую кичится он, нередко проявляется в насмешливых придириках и в притязании на стоицизм, издавна заслуживших ему от его врагов славу человека нерешительного. Обстоятельства могут дать такому человеку временную власть, но способен ли он на долго сохранить влияние? Нет. Пускай же мистер Тривенион остается при том, что указали ему и природа, и его положение в обществе, – пусть будет он неподкупным, независимым и способным членом Парламента и примирителем умных людей обеих сторон, когда партии вдаются в крайности. Он пропадет, если сделать его кабинетным министром. Зазрения его совести ниспровергнут всякий кабинет, а его нерешительность помрачила бы его личную репутацию.»

Едва окончил я чтение этого параграфа, вошли дамы.

Хозяйка, увидев листок в моих руках, сказала с принужденной улыбкой:

– Опять какие-нибудь нападки на мистера Тривениона?

– Пустое, – сказал я не совсем уместно. – Статья, которая показалась мне столь беспристрастной, была желчнее всех – пустое!

– Я теперь никогда не читаю газет, т. е. политических статей: они слишком грустны. А было время, они доставляли мне столько удовольствия, – когда началось его поприще и слава его еще не была сделана.

Леди Эллинор отворила дверь, выходящую на террасу, я спустя несколько минут, мы очутились в той части сада, которую хозяйка оградил от общественного любопытства. Мы прошли мимо редких растений, странных цветов, длинными рядами теплиц, где цвели и жили все диковинные произведения Африки и обеих Индий.

– Мистер Тривенион охотник до цветов? спросил я.

Хорошенькая Фанни засмеялась:

– Не думаю, чтоб он умел отличить один от другого.

– Я и сам не похваюсь, и вряд ли отличу один цветок от другого, когда их не вижу.

– Ферма вас больше займет, – сказала леди Эллинор.

Мы подошли к зданию фермы, недавно отстроенной по последним правилам. Леди Эллинор показала им машины и орудия самого нового изобретения, назначенные к сокращению труда и усовершенствованию механизма в хозяйстве.

– Так мистер Тривенион большой хозяин?

Фанни опять засмеялась:

– Батюшка один из оракулов агрономии, один из первых покровителей её успехов, но что касается до хозяйства, он, право, не скажет вам, когда едет по своим полям.

Мы воротились домой. Мисс Тривенион, чья открытая ласка произвела слишком глубокое впечатление на юное сердце Пизистрата II, предложила показать мне картинную галерею. Собрание ограничивалось произведениями Английских художников. Мисс Тривенион остановила меня перед лучшими.

– Мистер Тривенион любитель картин?

– Опять-таки нет! – сказала Фанни, покачав выразительно головкой. – Моего отца считают удивительным знатоком, а он покупает картины потому только, что считает себя обязанным поощрять наших художников. А как купит картину, – вряд ли когда и взглянет на нее!

– Что же он?.. – Я остановился, почувствовав невежливость моего, впрочем, весьма основательного, вопроса.

– Что он любит, – хотели вы спросить? Я, конечно, знаю его с тех пор как что-нибудь знаю, но не умела еще открыть что любит мой отец. Он даже не любит и политики, хоть и живет весь в политике. Вы как будто удивляетесь; когда-нибудь вы его лучше узнаете, а никогда не разрешите тайны о том, что любить мистер Тривенион.

– Ты ошибаешься, – сказала леди Эллинор, вошедшая в комнату вслед за вами, неслышно для нас. – Я сейчас тебе назову что отец твой более нежели любит и чему служит каждый час своей благородной жизни: – справедливость, благотворительность, честь и свое отечество. Тому, кто любит все это, можно простить равнодушие к какому-нибудь гераниуму, к новому плугу и даже (хотя это более всего оскорбит тебя, Фанни) к лучшему произведению Лендесера или последней моде, удостоенной внимания мисс Фанни Тривенион.

– Мама! сказала умоляющим голосом Фанни, – и слезы брызнули из глаз.

Неописанно-хороша была, в то время, леди Эллинор: глаза её блистали, грудь подымалась высоко. Женщина, взявшая сторону мужа против дочери и понимавшая так хорошо то, чего дочь не чувствовала, не смотря на опыт каждого дня, то, что свет никогда не узнал бы, не смотря на бдительность его похвал и порицаний, – эта женщина была, по-моему, лучшая картина всего их собрания.

Выражение её лица смягчилось, когда она увидела слезы в блестящих, карих глазах Фанни: она протянула ей руку, которую дочь нежно поцеловала, и потом, сказав шепотом:

– Не останавливайтесь на всяком пустом моем слове, маменька: иначе придется каждую минуту что-нибудь прощать мне, – мисс Тривенион ускользнула из комнаты.

– Есть у вас сестра? – спросила леди Эллинор.

– Нет.

– А у Тривениона нет сына, – сказала она грустно. – На щеках моих выступил яркий румянец. – Какой же я сумасшедший опять! Мы оба замолчали; дверь отворилась и вошел мистер Тривенион.

– Я пришел за вами, – сказал он улыбаясь, когда увидел меня; – и эта улыбка, так редко появлявшаяся на его лице, была исполнена прелести. – Я поступил невежливо; извините. Эта мысль только теперь пришла мне в голову, и я сейчас же бросил мои голубые книжки и моего письмоводителя, чтоб предложить вам прогуляться со иною полчаса, – только полчаса; более никак не могу: в час ко мне должна быть депутация! – Вы, конечно, обедаете и ночуете у нас?

- Ах, сэр! матушка будет беспокоиться, если я не успею в Лондон к вечеру.
- Пустое, – отвечал член Парламента, – я пошлю нарочного сказать, что вы здесь.
- Не надо, не надо, благодарю вас.
- Отчего же?

Я колебался.

– Видите ли, сэр, отец мой и мать в первый раз в Лондоне: и хотя я сам там никогда не бывал, все-таки могу им понадобится, быт им полезен. – Леди Эллинор положила мне руку на голову и гладила мне волосы, покуда я говорил.

– Хорошо, молодой человек: вы уйдете далеко в свете, как ни дурен он. Я не думаю, чтобы вы в нем имели успех, как говорят плуты: это другой вопрос, но если вы и не подниметесь, то, наверное, и не упадете. Возьмите шляпу и пойдете со мной; мы отправимся к сторожке... и вы еще застанете дилижанс.

Я простился с леди Эллинор и хотел просить ее передать от меня поклон мисс Фанни, но слова остановились у меня в горле, а мистер Тривенион уже выходил из терпения.

– Хорошо бы опять нам свидеться поскорее! – сказала леди Эллинор, провожая нас до двери.

Мистер Тривенион шел скоро и молча: он держал одну руку за пазухой, а другою небрежно махал толстой тростью.

– Мне надо пройти к мосту, – сказал я, – потому что я позабыл свою котомку. Я снял ее перед тем как собрался прыгать, и старушка вряд ли захватила ее.

– Так пройдемте здесь. Сколько вам лет?

– Семнадцать с половиной.

– Вы конечно знаете Латинский и Греческий языки, как их знают в школах?

– Думаю, что знаю порядочно, сэр.

– А батюшка что говорит?

– Батюшка очень взыскателем, однако он уверяет, что вообще доволен моими познаниями.

– Так и я доволен. А математика?

– Немножко.

– Хорошо!

Здесь разговор на время был прервал. Я нашел, котомку, пристегнул ее, и мы уже подходили к сторожку когда мистер Тривенион отрывисто сказал мне:

– Говорите, мой друг, говорите... я люблю слушать вас, когда вы говорите; это меня освежает. В последние десять лет никто не говорил со мной просто, естественно.

Эти слова разом остановили поток моего простодушного красноречия; я ни за что на свете не мог бы после этого говорить непринужденно.

– Видно я ошибся, – добродушно заметил мой спутник, увидев мое замешательство. – Вот мы и пришли к сторожке. Карета проедет минут через пять; вы можете, покамест, послушать как старуха хвалит Гогтонов и бранит меня. Вот еще что, сэр: не ставьте никогда ни во что похвалу или порицание; похвала и порицание здесь, – и он ударил себя рукою по груди, с каким-то странным воодушевлением. – Вот вам пример: эти Гогтоны были язва околodka; они были необразованы и скупы; их земля была дичь, деревня – свиной хлев. Я приезжаю с капиталом и пониманием дела; я улучшаю почву; изгоняю бедность, стараюсь все просветить вокруг себя; – у меня, говорят, нет заслуги: – я только выражение капитала, направляемого воспитанием, – я машина. И не одна эта старуха станет уверять вас, что Гогтоны были ангелы, а я – известная антитеза ангелов. А хуже-то всего то, сэр, – и все оттого что эта старуха, которой я даю десять шиллингов в неделю, так хлопочет об каких-нибудь шести пенсах, а я ей не запрещаю этой роскоши – хуже всего то, что всякий посетитель, как только поговорит с ней, уходит отсюда с мыслью, что я, богатый мистер Тривенион, предоставляю ей кормиться как она

знает и тем, что выпросит она у любопытных, которые приходят посмотреть сад. Судите же что все это значит? – Прощайте, однако ж. Скажите вашему отцу, что его старинный приятель желает его видеть; пользуйтесь его кротостью; его приятель часто делает глупости и грустит. Когда вы совсем устроитесь, напишите строчку в Сент-Джемс-Сквер: тогда я буду знать где вас найти. Вот и все; довольно!

Мистер Тривенион пожал мне руку и удалился.

Я не стал дожидаться дилижанса и пошел к калитке, где старуха (увидав или издали, почуяв вознаграждение, которого я был олицетворением).

«Молча и в мрачном покое, утренней ждала добычи.»

Мои мнения на счет её страданий и добродетелей Гогтонов до того изменились, что я уронил в её открытую ладонь только ровно условленную сумму. Но ладонь осталась открыта, между тем как пальцы другой руки вцепились в меня, а крест калитки удерживал меня, как патентованный штопор держит пробку.

– А три-то пенса племяннику Бобу? – сказала старуха.

– Три пенса Бобу? за что?

– Он всегда берет три пенса, когда присылает джентльменов. Ведь вы не захотите, чтобы я платила ему из того, что я получаю, потому что он непременно потребует трех пенсов, а то он у меня отымет мой доход. Бедным людям надо платить за их труды.

Её увещания меня не тронули, и, от души препоручая Боба тому джентльмену, которого ноги много бы выиграли, если бы надеть на них сапоги, я повернул рогатку и убежал.

К вечеру добрался я до Лондона. Кто, увидав Лондон в первый раз, не был разочарован? – Длинные предместья, незаметно сливающиеся с столицей, мешают любоваться ею. Постепенность вообще разрушает очарование. Я счел нужным нанять фиакра и отправился в гостиницу; подъезд её выходил на переулок Стрэнда, а большая часть всего здания – на эту шумную улицу. Я нашел отца в весьма затруднительном положении: в небольшой комнатке, по которой ходил он взад и вперед, он был похож на льва, только что пойманного и посаженного в клетку. Бедная матушка жаловалась на все, и в первый раз в жизни видел я ее не в духе. рассказывать о моих приключениях в такое время казалось неуместным. В пору было послушать. Они целый день понапрасну проискали квартиры. У отца вытащили из кармана новый Индийский фуляровый платок. Примминс, которой Лондон был так хорошо знаком, не узнавала ровно ничего и объявила, что его оборотили вверх ногами, и даже всем улицам дали другие названия. Новый шелковый зонтик, на пять минут оставленный без призора, был в сенях подменен старым коленкоровым, в котором оказалось три дыры.

Только тогда рассказал я о моем новом знакомстве с мистером Тривенион, когда матушка, вспомнив, что я непременно перестану владеть всеми членами, если она сама не присмотрит за тем, как будут проветривать мою постель, скрылась для этого, вместе с миссис Примминс и бойкой служанкой, которая, по-видимому, полагала, что мы не стоим особенных хлопот.

Отец, кажется, не слушал до той минуты, когда я произнес имя: Тривенион; тогда он ужасно побледнел и молча сел.

– Продолжай, – сказал он, заметив, что я пристально смотрю на него.

Когда я рассказал все и передал ему ласковое поручение, возложенное на меня мужем и женой, он слегка улыбнулся; потом, закрыв лицо рукою, погрузился в размышления, вероятно невеселые, и раза два вздохнул.

– А Эллинор? – спросил он, наконец, не поднимая глаз, – Леди Эллинор, хотел я сказать... все также... также...

– Также... что вы хотите сказать, сэр?

– Также хороша?

– Хороша! очень хороша; но я больше думал о её обращении, нежели о лице. К тому ж мисс Фанни... мисс Фанни... так молода!

– А! – заметил отец, произнося, сквозь зубы и по-Гречески, знаменитые строки, известные всякому из перевода Попе:

«Like leaves on trees the race of man is found:
Now green in youth, now withering on the ground!»⁵

– Так она хочет меня видеть? Кто это сказал? Эллинор... Леди Эллинор или её... её муж?

– Конечно, муж; леди Эллинор дала это почувствовать, но не сказала.

– Посмотрим, – продолжал батюшка. – Отвори окно. Что за духота здесь!

Я отворил окно, которое выходило на Стрэнд. Шум, голоса, звук шагов по камням, стук колес, вдруг сделались слышнее. Отец высунулся из окна и, на несколько мгновений, остался в этом положении; я стоял за ним. Потом он спокойно обратился ко мне:

– Каждый муравей в кучке тащит свою ношу, и дом его сложен только из того, что он добыл. Как счастлив я! как должен я благословлять Бога! Как легка моя ноша, и как безопасен мой дом!

В эту минуту вошла матушка. Он подошел к ней, обнял ее и поцеловал. Подобные ласки не потеряли цены своей от привычки к ним: лицо матушки, перед тем грустное, вдруг просияло. Однако она посмотрела ему в глаза, пораженная сладкою неожиданностью.

– Я теперь думал, – сказал отец, как бы в объяснение своего поступка, – скольким я вам обязан, и как сильно я вас люблю!

⁵ Род человеческий, подобно листьям древесным, то зелен в молодости, то рассыпается по земле.

Глава II.

Теперь взгляните на нас, три дня после моего прибытия, как мы расположились в Рёс-сель-Стрите квартала Бломсбери, во всей пышности и величии собственного дома: библиотека музея у нас под рукою. Отец проводит каждое утро в этих *lata silentia*, как называет Virgilius мир замогильный. И, в самом деле, можно назвать замогильным миром этот мир духов: собрание книг.

– Пизистрат, – сказал мне одним вечером отец, укладывая перед собой свои бумаги и вытирая очки, – Пизистрат, место подобное Большой Библиотеке, внушает благоговение. Тут схоронено. Все оставшееся от людей, со времени потопа.

– Это кладбище! – Заметил дядя Роланд, отыскавший нас в этот день.

– Это Ираклия, – сказал батюшка.

– Пожалуйста без этих выражений! – сказал капитан, качая головой.

– Ираклия была страна чернокожников, где вызывали они умерших... Хочу я беседовать с Цицероном? и вызываю его. Хочу поболтать на Афинской площади, и послушать новостей, которым теперь две тысячи лет? – пишу заклинание на лоскутке бумаги, и магик вызывает мне Аристофана. И всем этим мы обязаны нашему пред...

– Брат!

– Нашим предкам, которые писали книги... благодарю.

Тут дядя Роланд поднес свою табакерку отцу, который, хоть я ненавидел табак, однако смиренно понюхал и вследствие этого чихнул пять раз, что подало повод дяде Роланду пять раз повторить с чувством:

– На здоровье, брат Остин!

Оправившись, отец мой продолжал, с слезами на глазах, но также спокойно как перед тем, когда был прерван (он держался философии стоиков):

– Но это все не страшно. Страшно совместничество с высокими умами, страшно сказать им: посторонитесь, я тоже требую места между избранными. Я тоже хочу говорить с живыми, целые столетия после смерти, которая изведет мой прах. Я тоже... ах, Пизистрат! Зачем дядя Джек не отправился к черту, прежде нежели притащил меня в Лондон и поселил между этих учителей мира.

Покуда отец говорил, я хлопотал за всяческими полками для этих избранных умов, потому что матушка, всегда предусмотрительная, когда дело шло о спокойствии отца, предугадав необходимость этой утвари в наемном доме, не только привезла с собою ящик с инструментами, но даже сама утром закупила все нужные материалы.

– Батюшка! – сказал я, останавливая бег рубанка по гладкой еловой доске, – если бы я в институте приучил себя смотреть с таким благоговением на болванов, которые меня опередили, я навсегда остался бы последним в малолетнем отделении.

– Пизистрат, ты такой же беспокойный человек, как твой исторический тезка, – заметил, улыбаясь, отец. – Ну их совсем, этих болванов!

В это время вошла матушка, в хорошеньком вечернем чепчике, с улыбкой на лице и в прекрасном расположении духа, вследствие оконченного ею устройства комнаты для дяди Роланда, заключения выгодного условия с прачкой и совещания с миссис Примминс о средствах предохранения себя от плутов Лондонских торговцев. Довольная и собою, и целым светом, она поцеловала в лоб отца, углубившегося в свои выписки и подошла к чайному столу, за которым недоставало только председательствующего божества. Дядя Роланд, с своей обычной вежливостью, подбежал к ней с медным чайником, в руке (потому что наш самовар – у нас был свой, самовар – еще не был выложен) и, исполнив с точностью солдата обязанность, взяв, им на себя, подошел ко мне и сказал:

– Есть сталь более приличная для рук молодого человека хорошего происхождения, чем рубанок столяра.

– Может быть, дядюшка, но это зависит от...

– От чего?

– От того, на что ее употребляют. Деятельность Петра Великого, как кораблестроителя, заслуживает более уважения, нежели деятельность Карла XII, как рубаки.

– Бедный Карл XII! – сказал дядя, глубоко вздыхая, – славный был малый! Жаль, что он так мало любил дам!

– Нет человека совершенного, – сказал дядя важно. – Но, серьезно, вы, как мужчина, теперь единственная надежда всего семейства... вы теперь... Он остановился, а лицо его помрачилось. Я видел, что он думал о своем сыне, об этом таинственном сыне! И, взглянув на него нежно, я заметил, что его глубокие морщины стали еще глубже, седые волосы – еще седее. На его лице были следы недавних страданий, и хоть не сказал он нам ни слова о деле, по поводу которого тогда нас оставил, не много нужно было сметливости, чтобы удостовериться, что оно кончилось неблагоприятно.

– С незапамятных времен, – продолжал дядя Роланд, – каждое поколение нашего семейства давало отечеству воина. Теперь, я смотрю кругом; только одна ветвь зеленеет на старом дереве и...

– Ах, дядюшка! Что же скажут они? Неужели вы думаете, что я не захотел бы быть солдатом? Не искушайте меня!

Дядя мой искал спасения в своей табакерке; в эту минуту, на беду тех лавров, которые может быть когда-нибудь и увенчали бы чело Пизистрата Англии, все разговоры были прерваны неожиданным и шумным входом дяди Джака. Ни чье явление не было неожиданнее.

– Вот и я, мои друзья! Ну что вы все делаете, как поживаете? Капитан де-Какстон, имею честь кланяться. Слава Богу, я теперь свободен. Я бросил заниматься этой несчастной провинциальной газетой. Я был рожден не для этого. Океан в чайной чашке! Я – и эти мелкие, грязные, тесные интересы; я, чье сердце обнимает все человечество. Ну что между этим общего?

Отец мой, заметивший наконец его красноречие, которое уничтожало всякую возможность дальнейшего продолжения его сочинения на нынешний вечер, вздохнул и отодвинул в сторону свои заметки.

Дядя Джак совершил три эволюции, ни в чем не соответствовавшие его любимой теории величайшего счастья от величайших чисел; во-первых, он вылил в чашку, которую взял из рук моей матери, половину скудного количества молока, обыкновенно вмещаемого Лондонскими молочниками, потом значительно уменьшил объем пирога, вырезав из него три треугольника, и, наконец, подошел к камину, затопленному из угождения Капитану де-Какстон, подобрал полы сюртука и, продолжая пить чай, совершенно затмил источник света, к которому стал спиной.

– Человек создан для себя подобных. Мне давно надоело возиться с этими себялюбивыми провинциалами. Ваш отъезд совершенно убедил меня. Я заключил условие с одним Лондонским торговым домом, известным по уму, капиталу и обширным филантропическим видам. В субботу я оставил службу мою олигархии. Теперь я в моей сфере: я покровитель миллиона. Программа моя напечатана: она у меня здесь, в карман. Еще чашку чаю, сестрица, да не много побольше сливок, да другой кусок пирога. Позвонить что ли? – Освободившись от чашки и блюда, дядя Джак вытащил из кармана сырой лист печатной бумаги, в заглавии которого было напечатано крупными буквами: «Антимонопольная Газета» Он с торжественным видом вертел его перед глазами отца.

– Пизистрат, – сказал отец, – посмотри сюда. Вот какое клеймо дядя Джак теперь кладет на кружки своего масла. – Хорошо, Джак! хорошо, хорошо!

– Он якобинец! – воскликнул Капитан.

– Должно быть, – заметил отец, – но познание лучший девиз в мир, какой только можно изобразить на кружках масла, назначенного на рынок.

– Какие кружки масла? я не понимаю, – сказал дядя Джек.

– Чем меньше вы понимаете, Джек, тем лучше будет продаваться масло, – отвечал ему отец, принимаясь опять за свои занятия.

Глава III.

Дядя Джак думал было поселиться с нами, и матушка с трудом могла объяснить ему, что у нас не было и кровати для него.

– Это предосадно, – сказал он. – Как только я приехал в город, меня завалили приглашениями, но я отказался от всех, чтоб остановиться у вас.

– Как это мило! Как это похоже на вас! – отвечала матушка. – Но вы сами видите...

– Стало быть, мне теперь надо отыскивать себе комнату. Не беспокойтесь: вы знаете, я могу завтракать и обедать с вами, т. е. когда мои другие знакомые отпустят меня. Ко мне будут страшно приставать. – Сказав это, дядя Джак положил в карман свою программу и пожелал нам доброй ночи.

Пробило одиннадцать часов; матушка ушла в свою комнату, отец оставил книги и спрятал в футляр очки. Я кончил свою работу и сидел у камина, мечтая то о карих глазах Фанни Тривенион, то о походах, сражениях, лаврах и славе, между тем как дядя Роланд, скрестив руки и опустив голову, глядел на тихо-потухавшие уголья. Отец мой обвел глазами комнату и, поглядев несколько минут на брата, произнес почти шепотом:

– Сын мой видел Тривенионов; они нас помнят, Роланд.

Капитан вскочил и стал свистать, что делал он обыкновенно, когда был сильно встревожен.

– И Тривенион хочет нас видеть. Пизистрат обещался дать ему наш адрес: как вы думаете, Роланд?

– Как вам угодно! – отвечал Роланд, принимая воинственную осанку и вытягиваясь до того, что, казалось, делался футов семи росту.

– Я бы очень не прочь! – сказал смиренно отец. – Вот уже двадцать лет, как мы не видались.

– Больше двадцати, – сказал дядя с грустной улыбкой; – помните, стояла осень...

– Каждые семь лет, изменяются и фибры человека, и весь его материальный состав, а в трижды семь лет есть время измениться и внутреннему человеку. Могут ли двое прохожие любой улицы менее быть похожи один ни другого, нежели похожа сама на себя душа в данный миг и через двадцать лет? Брат, ни плуг не проходит даром по почве, ни забота через сердце человека. Новые посевы изменяют характер почвы, и плуг должен глубоко проникнуть в землю, прежде нежели дотронется первозданного её основания.

– Пожалуй, пуст приедет Тривенион, – воскликнул дядя; потом, обратившись ко мне, отрывисто сказал:

– Какое у него семейство?

– Одна дочь.

– Сына нет?

– Нет.

– Это должно огорчать бедного, суетного честолюбца. Вас, конечно, очень удивил этот мистер Тривенион. Да, его пылкость, отборные выражения и смелые мысли должны бросаться в глаза юноше.

– Да, уж выражения, дядюшка: и огонь! Послушав мистера Тривенион, я готов сказать, что его слог так прост, что удивительно каким образом он мог приобрести славу хорошего оратора.

– В самом деле?

– Плуг прошел и тут, – сказал отец.

– Но не плуг заботы: он богат, известен, Элинора его жена, и у него нет сына.

Роланд взглянул сперва на моего отца, потом на меня.

– В самом деле, – сказал он от души, – с Богом, пускай его приедет. Я могу подать ему руку как подам ее товарищу-солдату. Бедный Тривенион! Напишите к нему сейчас, Систи!

Я сел и повиновался. Запечатав письмо, я поднял глаза и увидел, что Роланд зажигает свечу на столе у отца. Отец, взяв его за руку, сказал ему что-то потихоньку, Я догадался, что дело шло о его сыне, потому что он покачал головой и отвечал грустным, но решительным голосом:

– Вспоминайте горе, если хотите, но не стыд. Об этом – ни слова!

Глава IV.

По утрам, предоставленный самому себе, я с вниманием бродил одинокий по обширной пустыне Лондона. Постепенно свыкался я с этим людным уединением. Я перестал грустить по зеленым полям. Деятельная энергия вокруг меня, на первый взгляд однообразная, сделалась забавной и наконец заразительной. Для ума промышленного нет ничего заманчивее промышленности. Я стал скучать золотым праздником моего беззаботного детства, – вздыхать по труду, искать себе дороги. Университет, которого я прежде ожидал с удовольствием, теперь представлялся мне бесцветным отшельничеством, а погранивши Лондонскую мостовую, пуститься ходить по монастырям значило идти назад в жизни. День ото дня дух мой мужал: он выходил из сумерек отрочества; он терпел муки Каина, блуждая под палящим солнцем.

Дядя Джек скоро погрузился в новые спекуляции для пользы человечества и, исключая завтрака и обеда (к которым, по истине, являлся, почти всегда исправно, не скрывая, однако, принесенных им жертв, приглашений, не принятых ради нас), мы редко его видели. Капитан тоже уходил после завтрака, редко с нами обедал и, большую часть, приходил домой поздно. У него был особый ключ и, поэтому, он мог входить когда хотел. Иногда (комната его была рядом с моею) меня пробуждали его шаги по лестнице, иногда я слышал, как он в волнении ходил по комнате, или до меня доносился тихий вздох. Каждый день, более и более, его лицо омрачалось заботой, волоса, будто с каждым днем, седели. Но он по-прежнему говорил с нами непринужденно и весело: и я думал, что один во всем дом замечал тяжкие страдания, которые твердый, старый Спартанец прикрывал завесой приличия.

Жалость, смешанная с удивлением, родила во мне любопытство узнать, в чем проводил он вне дома дни, которые вели за собою такие тревожные ночи, Я чувствовал, что, узнав его тайну, получу право утешать его и помогать ему.

Наконец, после долгих соображений, я решился удовлетворит любопытство, которое извиняли его причины.

Поэтому, одним утром, подкараулив его выход из дома, я последовал за ним в некотором расстоянии.

И вот очерк этого дня. Он пошел, сначала твердыми шагом, не смотря на хромоту, – выпрямив свою тощую фигуру и выставляя вперед солдатскую грудь из вытертого, но до крайности чистого сюртука. Сперва, он шел к Дистер-Скверу; потом прошел несколько раз, взад и вперед, перешеек, ведущий из Пикадилли к этому общему притону иностранцев, равно переулки и площадки, ведущие оттуда к церкви св. Мартина. Час или два спустя, походка его сделалась медленнее, и он, по временам, стал приподнимать гладкую, вытертую шляпу и утирать лоб. За тем, он пошел к двум большим театрам, остановился перед афишками, как будто бы, в самом деле, размышляя о том который из них доставит ему большее число предлагаемых удовольствий; потом тихо побродил по переулкам, окружающим эти храмы муз и опять по Стрэнду. Тут он пробыл с час в небольшой харчевне (cook-shop), и когда я прошел мимо окна то увидел его сидящим за незатейливым обедом, к которому он едва прикасался: между тем, он просматривал объявления «*Times*» Прочитав *Times* и проглотив без малейшего вкуса несколько кусков, капитан молча вынул шиллинг, взял шесть пенсов сдачи, и я едва успел отскочить в сторону, как он уже показался на пороге. Он посмотрел вокруг себя; но я принял свои меры к тому, чтоб он меня не заметил. Тогда он отправился в самые людные кварталы. Было уж за полдень и, не смотря на время года, улицы кишели народом. Когда он вышел на Ватерлооскую площадь, по ней, на красивой гнедой лошади, проехал маленьким галопом человек, с виду ничего не значащий, застегнутый доверху, как и сам Роланд: – взоры толпы были устремлены на этого человека. Дядя Роланд остановился и приложил руку к шляпе; всадник тоже

дотронулся своей шляпы, указательным пальцем, и поскакал дальше. Дядя Роланд обернулся и смотрел ему вслед.

– Кто этот джентльмен на лошади? – спросил я у лавочника, стоявшего возле меня и тоже смотревшего во все глаза.

– Это Герцог, – отвечал мальчик.

– Герцог?

– Веллингтон! – Что за глупый вопрос!

– Покорно благодарю! – сказал я тихо.

Дядя Роланд пустился по Риджентс-Стрит (улице Регента), но шел скорее прежнего, как будто вид старого начальника ободрил старого солдата. И опять он стал ходить взад и вперед, до того что я, следя за ним по другой стороне улицы, как ни был здоров ходить, едва не свалился от усталости. Но Капитан не совершил еще и половины своего дневного труда. Он вынул часы, поднес их к уху и положив их опять в карман, прошел в Бонд-Стрит, а оттуда в Гейд-Парк. Здесь, видимо утомленный, он прислонился к решетке, у бронзовой статуи, в положении, выражавшем отчаяние. Я сел на траву возле статуи и глядел на него: парк был пуст в сравнении с улицами, но в нем, однако же, несколько человек каталось верхом и было много пешеходов. Дядя осматривал всех их внимательно: раз или два джентльмены воинственной наружности (я уж выучился узнавать их) останавливались, смотрели на него, подходили к нему и заговаривали с ним, но капитан, казалось, стыдился их приветствий. Он отвечал отрывисто и отворачивался.

День кончался. Подходил вечер. – Капитан опять посмотрел на часы, покачал головой и подошел к скамье, на которую сел, совершенно недвижим, надвинув шляпу и скрестив руки: он пробыл в этом положении до тех пор, пока куда взошел месяц. Я ничего не ел с самого завтрака и был голоден, но все-таки остался на своем poste, как древний Римский часовой.

Наконец капитан встал и пошел опять по направлению к Пикадилли, но как изменилось выражение его лица и походка! Истомленный и изнуренный, с свалившейся грудью и повесив голову, он с трудом передвигал члены, и жалко было смотреть на его хромоту. Какая противоположность между слабым инвалидом ночи и бодрым ветераном утра!

Как хотелось мне подбежать к нему и подать ему руку! Но я не смел.

Капитан остановился возле места, где стоят наемные кабриолеты. Он опустил руку в карман, вынул кошелек, провел по нем пальцами; кошелек опять скользнул в карман, и, как бы делая над собою геройское усилие, дядя приподнял голову и продолжал путь свой.

– Куда еще? подумал я. – Наверное домой. Нет, он был безжалостен.

Капитан остановился только у входа одного из небольших театров Стрэнда: тут он прочел афишу и спросил началась ли вторая половина представления, «Только что началась,» отвечали ему; – Капитан вошел. Я тоже взял билет и взошел вслед за ним. Проходя мимо отворенной двери буфета, я подкрепил себя бисквитами и содовой водой. И, минуто спустя, я в первый раз в жизни увидел театральное представление. Но оно меня не занимало. Я попал в середине какой-то забавной интермедии. Около меня раздавался оглушительный смех. Я не находил ничего смешного, и, высматривая всякий угол, наконец разглядел в самом верхнем ярусе лицо, печальное не менее моего. Это было лицо Капитана.

– Зачем ему ходить в театр? – подумал я, – когда он доставляет ему так мало удовольствия: лучше бы ему, бедному старику, истратить шиллинг на кабриолет.

Вскоре к уединенному углу, где сидел капитан, подошли какие-то щегольски одетые мужчины и разряженные дамы. Он вышел из терпенья, вскочил и скрылся. Я тоже вышел и стал у двери с тем, чтобы подстеречь его. Он сошел вниз; я спрятался в тени: он, простоявши на месте минуту или две, как бы в недоумении, смело вошел в буфет или залу.

С тех пор как я вышел оттуда, буфет наполнился народом, а я, теперь, проскользнул незамеченный. Странно и смешно, но, вместе, и трогательно было видеть старого солдата в кругу

этой веселой толпы. Он ростом своим отличался от всех, подобно Герою Омирову; он был головою выше самых рослых, и наружность его была так замечательна, что сейчас же обратила на себя внимание прекрасного пола. Я, в простоте моей, думал, что только врожденная нежность этого любезного и проникательного пола, так легко умеющего подстеречь душевную скорбь и всегда готового ее утешить, заставила трех дам в шелковых платьях и из которых на одной была шляпа с пером, а на двух других множество локонов, отойти от кружка джентльменов, с ними разговаривавших, и стать перед дядей. Я пробежал сквозь толпу, чтобы послушать, что там происходило.

– Вы верно кого-нибудь ищете, – сказала одна из них, ударяя его по руке опахалом.

Капитан вздрогнул.

– Вы не ошиблись – отвечал он.

– Не могу ли я заменить то, чего вы ищете? – перебила другая.

– Вы слишком добры, покорно вас благодарю: но этого нельзя, – сказал Капитан, с самым учтивым поклоном.

– Выпейте стакан *нигаса*,⁶ – сказала третья, когда её приятельница уступила ей место. – Вы, кажется, устали; я – тоже. Пройдемте сюда. – И она схватила его за руку с тем, чтобы подвести к столу. Капитан грустно покачал головой, а потом, как бы внезапно поняв какого рода было внимание, ему оказываемое, взглянул на прелестных Армид с таким укором, с таким нежным состраданием (не отнимая своей руки, по свойственному ему рыцарскому чувству к женскому полу, распространявшемуся и на его отвержениц), что и самые смелые глаза опустились. Рука робко и невольно вырвалась из-под его руки, и дядя пошел своей дорогой.

⁶ Нигас: вода с вином, сахаром и пряностями.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.